

ВЫШГОРОД 2-3'2006

ВЫШГОРОД

2-3'2006

ISSN 1023-1099



ISSN 1023-1099



9 771023 109001

ВЫШШГОРОД

2-3'2006

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



Издается с марта 1994
Выходит 6 раз в год

ТАЛЛИНН • ЭСТОНИЯ
2006

ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

**МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ФОНДА KULTUURKAPITAL



Ирина БЕЛОБРОВЦЕВА • Майму БЕРГ
Арво ВАЛТОН • Тийу ВАЛЬМ
Рейн ВЕЙДЕМАНН • Лариса ВОЛЬПЕРТ
Людмила ГАНС • Екатерина ГЕНИЕВА
• Юрий ДРУЖНИКОВ •
Лола ЗВОНАРЕВА • Тээт КАЛЛАС
Любовь КИСЕЛЕВА • Михаил ЛОТМАН
Александр МЕЛИХОВ • Светлан СЕМЕНЕНКО
Юхан СИЛЛАСТЕ • Юло ТУУЛИК

**Открываем проект
“Европейский Союз: наши соседи и друзья”**

©
Журнал «Вышгород» № 2-3, 2006

©
Оформление В. Станишевского

©
Компьютерная графика О. Костанди

©
Название журнала - «Вышгород» - Ю. Зотова



Когда Эстония была в 1940 году насильно присоединена к Советскому Союзу, то одним из способов духовного протеста у эстонской интеллигенции была подчеркнутая “европейскость” (как скрытая антисоветчина): начиная с немецкой, английской, французской образованности и кончая западными формами быта, общения, поведения.

Б.Ф. Егоров
Воспоминания

Издательство СПБНИ РАН “Нестор-История”, 2004, с. 226

Согласитесь, что звание “космополита” весьма почетно. В ругательство его превратил Сталин, организовавший в 1947-1948 году преследования “безродных космополитов”. <...> Со времен Христа, тоже космополита, и вплоть до нашей эпохи космополитизм считался признаком просвещенности, образованности. Натягивание всего и вся на узкую национальную колодку вредно прежде всего для собственной национальной культуры. Это делает ее провинциальной, а потому неинтересной ни другим, ни собственной нации.

Томас Венцлова
с. 35

Моралисты и романтики постоянно заняты делением на правых, неправых и виноватых, дело историка - посмотреть, как было. <...>

Склонность к переменам заложена в генетический код европейской культуры.

Борис Бернштейн
с. 187



*Марина Давыдовна
Шошова, Ш. Февраль 1812.*

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА

**ПИСЬМА
РУССКАГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА**

Н. М. КАРАМЗИНА

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И РИСУНКАМИ

ТОМЪ ПЕРВЫЙ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНИЕ А. С. СУВОРИНА



**“ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА”
В ПРОЧТЕНИИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ**

**“Я всегда радуюсь, когда слышу, что
сочинения мои приносят пользу или
удовольствие благородным душам”.**

Н.М. Карамзин

Сопоставление имен Карамзина и Цветаевой только на первый взгляд может показаться странным. С Карамзиным у Цветаевой сложились свои устойчивые отношения. В ее библиотеке имелся экземпляр “Истории Государства Российского”, читая которую она делала выписки в особую тетрадь, а затем написала цикл стихов о своей “соименице” - Марине Мнишек.¹

Другим свидетелем подобного общения Цветаевой с Карамзиным является случайно уцелевший том “Писем русского путешественника”, некогда принадлежавший Марине Ивановне. Это первый том восьмого издания “Писем” 1884 года, напечатанный в Петербурге типографией А.С. Суворина. Изданные самим автором впервые в 1791-92 годах, они выходили до 1848 года семь раз, после чего наступил длительный перерыв. А.С. Суворин снабдил свое издание “Писем” собственным предисловием и статьей академика Ф.И. Буслая. Последняя повторяет речь, произнесенную ученым в Московском университете 1 декабря 1866 года на праздновании столетия со дня рождения Н.М. Карамзина.

Вадим Петрович Старк (С.-Петербург) - доктор филологических наук, старший научный сотрудник Пушкинского Дома, исследователь творчества Пушкина, Набокова, автор двухтомного труда “Жизнь с поэтом. Наталья Николаевна Пушкина” (СПб, ВИТА НОВА, 2006).

Книга сопровождается гравированным портретом автора “Писем”, проиллюстрирована пятью изящными гравюрками в тексте с монограммой “А.З.” и воспроизведением титульного листа первой части издания 1797 года, напечатанного в московской университетской типографии. Хотя и выпущенная в серии “Дешевая библиотека”, книга выполнена на высоком типографском уровне, заключена в твердый переплет с золотым тиснением на кожаном корешке.

В верхней правой части титульного листа в две строчки фиолетовыми чернилами четко выведено:

Марина Эфронъ

Москва, 21-го февраля 1912 г.

Нет никакого сомнения: Марина Эфрон - это Марина Цветаева. 27 января 1912 года в Москве состоялась ее свадьба с Сергеем Эфроном. Тогда, в первый месяц замужества, ощущая свое единство с Сергеем, она подписывается его фамилией, потом - всегда своей девичьей. Убедиться в том, что надпись сделана рукой самой Цветаевой, не составляло труда. Даже неискушенный глаз, не говоря уже о специалистах, сопоставив почерк с опубликованными автографами Цветаевой, убеждается в несомненности того, что это ее рука.

Книга является в настоящее время собственностью Н.К. Телетовой (Санкт-Петербург).^{*} Том “Писем” Карамзина с автографом Марины Эфрон был куплен ею в букинистическом магазине Свердловска в сентябре 1952 года. Штамп Свердловкниготорга свидетельствует о том, что магазином книга приобретена 5 июля того же года. Ее стоимость обозначена в двадцать пять рублей. Для того времени довольно высокая цена, тем более что сдан был лишь один том из двухтомника. В 1952 году не представило бы особого труда отыскать предыдущего владельца по ясно видимому номеру квитанции - “3566”. Теперь же, спустя полвека, это уже невозможно. Остается предположить, что книгу сдал в магазин кто-то из свердловчан, кому она досталась во время войны от неизвестных эвакуированных москвичей.

^{*}Наталья Константиновна Телетова - литературовед, генеалог, пушкинист, известна как исследователь истории предков Поэта. В 2004 в изд-ве “Сад искусств” в Петербурге вышла ее книга “Жизнь Ганнибала - прадеда Пушкина”. Н.Т. большой знаток творчества М.И. Цветаевой. Она - первый публикатор русской версии поэмы “Молодец” (1988). А в 2003 году в С.-Петербурге изд-во “Дорн” выпускает целый фолиант - “Молодец” - слитые в одно обе поэмы Цветаевой: русская и французская (перевод Л.М. Цывьян). Публикация и монографический очерк Н.К. Телетовой, ответственный редактор В.П. Старк.

Многоуважаемая Наталья Константиновна!
 Думаю, что "21 февраля 1912 г." - просто дата покупки книги, являвшейся и в то время букинистической редкостью. В ранних рукописях, письмах, дарственных подписях (и пр.) МЦ любила подчеркивать даты (все даты) - волнистой линией - как бы "подводя итог" письму, стихотворению, подарку, прожитому дню. Впоследствии даты уже не подчеркивались - приблизительно с 1916-1918 г.г.
 Во всяком случае ни о каком особом значении 21 февраля вообще и 1912 г. (т.е. данного дня в данном году) - мне ничего не известно.
 Всего Вам самого доброго.
 А. Эфрон

В том, что 21 февраля 1912 года - день покупки М.И. Цветаевой тома "Писем", убедилась еще Н.К. Телетова, послав письмо-запрос ее дочери Ариадне Сергеевне Эфрон. Это было уже в начале ноября 1968 года. Поскольку в данном случае ответ имеет особое значение, приводим его полностью:

14 ноября 1968

Многоуважаемая Наталья Константиновна! Думаю, что "21 февраля 1912 г." - просто дата покупки книги, являвшейся и в то время букинистической редкостью. В ранних рукописях, письмах, дарственных подписях (и пр.) МЦ любила подчеркивать даты (все даты) - волнистой линией - как бы "подводя итог" письму, стихотворению, подарку, прожитому дню. Впоследствии даты уже не подчеркивались - приблизительно с 1916-1918 г.г.

Во всяком случае ни о каком особом значении 21 февраля вообще и 1912 г. в частности (т.е. данного дня в данном году) - мне ничего не известно.

Всего Вам самого доброго

А. Эфрон.

Именно так - "волнистой линией" - подчеркнута дата и в интересующей нас книге. И даже если нам ничего больше не известно об этом дне в жизни Марины Цветаевой, мы можем сказать, что в этот день она купила том "Писем" Карамзина, а приобретение книги само по себе для нее всегда было радостью. "Встреча с поэтом (книгой) для меня радость, ниспосылаемая свыше", - писала М. Цветаева.

На фронтисписе указано и место покупки: "Книжная торговля П.Ф. Яковлева, Москва, против Тверск[ой] час[овни]". До какого же времени принадлежало это издание М. Цветаевой? Скорее всего до ее отъезда за границу, после чего "Письма" оказались в чужих руках. Уточнить немаловажный момент в истории книги помогло неожиданное открытие.

Штамп свердловского магазина проявился на другой стороне, а в свою очередь рядом с цифрами штампа видны отпечатки еще каких-то цифр или букв, сделанных другими чернилами. В зеркальном отражении прочитывается: "2 т." Остальное сливается с оттиском штампа. Откуда взялся этот отпечаток? На соответствующей стороне, где должен быть его оригинал, нет следов подтирки. Зато есть аккуратно наклеенный прямоугольничек бумажки, под которым обнаруживается запись старыми выцветшими чернилами - "2 т.", а под нею - "50 к." и короткая неразборчивая подпись. Отпечаток на противоположной стороне точно соответствует этой надписи - по расположению и цвету чернил. Несомненно, цена двух томов определяется в 50 коп. и принадлежит оценщику магазина. Консультация у известного библиографа, ныне покойного М.С. Лесмана, помогла установить, что столь дешевым такой двухтомник мог быть лишь в годы нэпа - 1922-1928.²

После 1928 года счет снова шел в рублях. Заклейка ничтожной цены при очередной перепродаже книги психологически, с точки зрения того неизвестного продавца, вполне понятна.

Правда, до денежной реформы 1922 года цена на книгу выражалась в миллионах, или цифрой с несколькими нулями. Сама Цветаева, уже решившаяся эмигрировать, в октябре 1921 года в письме И. Эренбургу называет сумму, необходимую ей для проезда до Риги, в десять миллионов и пишет: "Продав С[ережи]ну шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево и две книги (сборник "Версты" и "Феникс. Конец Казановы"), с трудом наскребу 4 милли-

она, да и то навряд ли...”³ Поскольку М. Цветаева уехала за границу 29 апреля 1922 года по старому или 11 мая по новому стилю, до денежной реформы, то, следовательно, “Письма” принадлежали ей только до этого времени и были проданы кем-то уже после ее отъезда.

Как пишет А. Саакянц, “Библиотеку свою (так же как и рукописные тетради) она оставила сестре Анастасии /.../; некоторые же книги Цветаевой попали к Н.А. Нолле-Коган...”⁴ Они или кто-то еще и продали этот двухтомник в период нэпа. Выходит, Марина Цветаева владела этим изданием десять лет - с 1912 по 1922 год.

Внимательный просмотр тома “Писем” Карамзина позволил обнаружить, частью и восстановить пометки Цветаевой. Общее их число - семьдесят пять. Отчеркнуты иногда целые абзацы, против отдельных мест поставлены крестики. Сделаны пометки по большей части фиолетовыми чернилами, тонким пером, реже простым карандашом, в двух случаях красным. А. Саакянц писала о цветаевской манере общения с книгами: “Вообще с книгами, будь то свои или чужие, Цветаева могла обращаться, можно сказать, с истинно антибиблиофильским темпераментом: она делала не только карандашные, но и чернильные пометы на полях, полемизировала с автором, ставила знаки вопроса, восклицания и т.п. /.../ Пометы же говорили отнюдь не о небрежности, а как бы воочию демонстрировали отношения Поэта с Книгой. Марины Цветаевой с данной книгой”.⁵

Карамзин, создавший устойчивый тип “русского путешественника”, путешественника с книгой в руках, воспитал не одно поколение русских читателей. Среди них и Цветаева. Можно предположить, что “Письма”, только что приобретенные, сопутствовали ей в свадебном путешествии, маршрут которого отчасти совпадает с маршрутом Карамзина. В пометах Марины - выражение самой себя. Цветаева просматривается в них через литературный образ человека прошлого. И еще - это знак признательности Карамзину. “Что такое признательность? Дать знать о своей радости, радоваться перед ним, перед тем (от кого происходит нам эта радость)”.⁶

Самый первый крестик поставлен на полях вступительной статьи Буслаева против его слов, оценивающих сочинение Карамзина, с которыми Цветаева, должно быть, согласна:

“...Письма Русского Путешественника даже в период деятельности Пушкина не теряли своего современного значения, частью, имеют они его и теперь, потому что в них впервые были высказаны многие понятия и убеждения, которые сделались в настоящее время достоянием всякого образованного человека”. Слово “всякого” подчеркнуто.

Одно из двух особо выделенных красным карандашом с двойным отчерком мест уже непосредственно в тексте “Писем” погружает нас в ту глубину созвучия переживаний Карамзина чувствам Цветаевой, что и определяет в целом отношение ее к своему великому предшественнику. Это то место, где описывается впечатление, произведенное на путешественника в лозаннском саду натуралиста Левада. Глазам его предстают “надписи, выбранные из разных поэтов”. “Между прочими нашел я строфу из Аддиссоновой Оды, в которой Поэт благодарит Бога за все дары, приятые им от руки Его - за сердце, чувствительное и способное к наслаждению - и за друга, верного, любезного друга! Щастлив г. Левад, естли в Аддиссоновых стихах находит он собственныя свои чувства!” (53).⁷

Так Цветаева в “Письмах” Карамзина находит родственное себе. Несколько раз выделенные ею строки о верном друге, спутнике в жизни, увязываются с ее тогдашним восприятием Сергея Эфрона и лишний раз указывают на то, что сделаны эти пометы во время их свадебного путешествия 1912 года или непосредственно после него.

Их путешествие началось в первых числах марта и продолжалось два месяца. Они посетили Францию, Швейцарию, Германию и Италию. Это было последнее ее “вольное” путешествие за границу: спустя десять лет она окажется там в эмиграции.

Молодожены первым делом отправились в Париж, где их дожидалась Анастасия Ивановна Цветаева.⁸ И хотя второй том “Писем”, видимо, также принадлежавший М. Цветаевой, утрачен, - а именно там речь идет о Франции, - все же одна отметка в первом томе напоминает об их пребывании в Париже. Она сделана против цитаты из второго тома “Писем” во вступительной статье Буслаева: “Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностью! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной...”

Первая - самая поверхностная форма отношений

М. Цветаевой и автора “Писем” (его лирического героя) - устанавливается, если можно так сказать, географически. В отрочестве (1903 - 1905) и в юности (1910) Цветаева побывала во многих из тех мест, которые описаны Карамзиным. Его первый том посвящен путешествию по Германии и Швейцарии, с которыми у Цветаевой связаны устойчивые воспоминания, и страницы “Писем” несомненно вызывали у нее определенные ассоциации. Швейцария для Цветаевой - прежде всего Лозанна и Женевское озеро.

“Слово “Лозанна”, - писала А.И. Цветаева, - нам нравилось: оно звало куда-то, и было совсем неизвестно, чем оно станет нам”.⁹ В Лозанну девочек Цветаевых привезли совершенствоваться во французском языке и продолжать учебу в пансионе сестер Лаказ. В главе “Швейцария” А.И. Цветаева отмечает “страстную, с п е р в о г о взгляда привязанность к Лозанне (точно когда-то в ней родились, точно именно этот город мы видели с детства, во сне)...”¹⁰

Каждое утро путешественник у Карамзина свершает прогулки вокруг Лозанны. А.И. Цветаева пишет: “Каждый день мы ходили еще в какие-нибудь окрестности Лозанны... Мы проходили мимо садов, пахнущих розами...”¹¹ “Годы и годы поздней вспоминала Марина несколько раз пережитые нами особенно лозаннские утра”.¹²

На полях лозаннских писем Карамзина отмечены крестиком и коротким отчерком строки, посвященные Шильонскому замку и связанные для Цветаевой со своими посещениями тех же мест, что описывает позже ее сестра. Вот и кафедральная церковь Лозанны, в которую каждое воскресенье приводили на проповедь пансионеров. “Высокий шпиль собора, крутые крыши, старинная архитектура...”¹³

Судя по воспоминаниям А.И. Цветаевой, им не приходилось бывать в Женеве. И во время свадебного путешествия 1912 года Марина Ивановна с мужем по пути из Парижа в Италию проезжала Лозанну, но Женеве снова оставалась в стороне. Не случайным представляется в связи с этим тот факт, что на полях женевских писем Карамзина мы не найдем ни одной цветаевской заметки, указывающей на ее знакомство с этим городом. В то время, как карамзинский отзыв о Базеле, который Цветаева никак не могла миновать ни в отрочестве по пути из Лозанны во Фрейбург, ни в 1912 году по пути туда же из Италии, отчеркнут: “Ба-

зель более всех городов в Швейцарии; но, кроме двух огромных домов Банкара Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень не много, и некоторые переулки заросли травой. Рейн разделяет Базель на две части...” Особый крестик - напротив почтительного упоминания Карамзиным виденного им (как, вероятно, и Цветаевой) монумента Эразма Роттердамского в главной базельской церкви (182).

Анализ подобных отметок, входящих в зрительный ряд воспоминаний самой Цветаевой, при почти полном отсутствии каких бы то ни было свидетельств ее посещения Швейцарии в 1912 году, позволяет уточнить маршрут ее следования тогда - через Швейцарию - по пути из Франции в Италию и из Италии в Германию. В лучшем на сегодняшний день издании, освещающем этот период в жизни Цветаевой, Швейцария вовсе не фигурирует.¹⁴ Лишь в поздних записках В.И. Цветаева, старшая по отцу сестра Марины Ивановны, писала, в третьем лице обращаясь к ней и Сергею Яковлевичу: “Вы в волшебстве своего свадебного путешествия. Альпы, Женева, Швейцарские озера, Париж, Сицилия, Палермо”.¹⁵ Насколько можно доверять этому пассажи, с точки зрения его точности - неизвестно. Слишком мало мы знаем об этом свадебном путешествии. Во всяком случае, сначала был Париж, потом проездом, но с вероятными задержками - Швейцария, далее Сицилия, с Италией по пути, наконец, Германия (опять же через Швейцарию) с отдыхом в Шварцвальде под Фрейбургом, а уж оттуда - обратно в Россию. Германия, как мы видим, вовсе не упоминается В.И. Цветаевой, зато Швейцария с Женевой поставлена на первое место. При этом опущена Лозанна, которая для М.И. Цветаевой прежде всего и олицетворяла Швейцарию и миновать которую она никак не могла. В Женеву же нужно было совершить особую поездку из Лозанны. Состоялось ли такое путешествие или нет, выяснить на основании тех материалов, которые в настоящее время имеются в распоряжении исследователей, невозможно. Зато несомненно, что от Лозанны в Италию они ехали знакомым Марине, буквально до слез, путем вдоль Женевского озера на Сьон и Симплонским туннелем.

“Наш путь в Лозанну - горе у вагонных окон. /.../
Я даже не помню пейзажей кончавшейся Италии, на-

чинавшейся Швейцарии - все дрожало в слезах". Так А.И. вспоминала их с Мариной расставание с Италией и переезд в Лозанну 1904 года. Теперь, в 1912-ом, путешествие Марины было встречей с детством. Но после Италии они с мужем направились в Германию уже другим путем, через Сен-Готард, Цюрих и Базель.

М. Цветаеву интересует начало письма "В карете дорогою". Меняются скорости и средства передвижения, но неизменны пейзажи: "Какие места, какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна, и готов был в восторге целовать землю" (192). Откровенная восторженность чувств Карамзина сродни Цветаевой - по сходству натур и ощущений. Рейн для Цветаевой - символ столь любимой с детства Германии.

Любопытно, что среди многих пейзажей "Писем" Цветаевой отмечены лишь рейнские. Два из них - рейнских водопадов, могучих, неповторимых низвержений, еще в Швейцарских Альпах, куда в детстве поднималась Цветаева. Особо отчеркнуто описание знаменитого Рейхенбахского водопада, вероятно, вызвавшего воспоминания о собственных альпийских прогулках (202).

Марина "останавливается" у гордо текущего германского Рейна в письме из Майнца от 2 августа, как и карамзинский путешественник: "Любезные друзья! Как радостно билось мое сердце! Рейн! Рейн! наконец вижу тебя (думал я) - вижу, и благословляю царя вод Германских в гордом его течении!" (168).

В статье "О Германии" Цветаева писала: "Во мне много душ. Но главная моя душа - германская. Во мне много рек, но главная моя река Рейн".¹⁶ "Рокот Рейна сквозь тысячелетия" - вот что слышится Цветаевой как зов Германии. Сравним германские встречи путешественника "Писем" и отзывы Цветаевой о немцах.

"О, я их видела! Я их знаю! Другому кому-нибудь о здравомыслии и скуке немцев! Это страна сумасшедших, с ума шедших на высшем разуме - духе..."¹⁷ И так, для Цветаевой, как и для Карамзина, Германия - страна, "где в каждом конторщике дремлет поэт".

Часть "Писем", посвященных Германии, построена на общении путешественника с великими учеными и поэтами. Вместе с ним и Цветаева как бы посещает в Веймаре Гете, Виланда, Гердера, в Берлине - Морица и Рамлера, в Лейпциге - Платнера. В беседе, например, путешественника с Платнером Цветаеву привле-

кает диалог о достоинствах и особенностях русского языка. И Цветаевой не раз на чужбине приходилось поступать, подобно Карамзину, который пишет: “В доказательство того, что наш язык не противен ушам, читал я им Русские стихи разных мер, и они чувствовали их определенную гармонию” (119).

Литературно-психологические наблюдения Цветаевой, выявленные в сделанных ею отметках на страницах “Писем”, представляют особый интерес. Они касаются прежде всего проблем чувства и его отражения в творчестве, важнейших для Карамзина проблем, и, как мы знаем, и еще раз убеждаемся - для Цветаевой. Противоречия чувства представляются ей естественными. Таковые отмечает она и на полях “Писем”. Вся ее жизнь и каждый ее шаг построены были на исключительности, то же она пытается увидеть и у Карамзина.

В письме из Франкфурта не осталась незамеченной ею народная легенда, которую перелагает Карамзин, - о любви молодого монаха и юной монахини, обращенных гневом небесным в два камня на месте, где они соединились в объятиях. Эта легенда легла в основу поэмы Виланда “Монах и монахиня”. Страсть, нарушение запретов и условностей - тема всего творчества Цветаевой. Она сходится с Карамзиным в том, что любовь есть пробуждение дара, вялый же темперамент позволяет свершать безнравственные поступки.

Цветаева не смогла обойти и то место в “Письмах”, где как бы вскользь упоминается надгробие княгини Орловой в кафедральном соборе Лозанны. Это одна из тех заметок Карамзина, которые рассчитаны на читателя, знающего суть дела. К такому читателю следует отнести и Цветаеву. С именем Екатерины Николаевны Зиновьевой, в замужестве Орловой, связан последний мучительный роман недавнего фаворита Екатерины II-ой князя Г.Г. Орлова. В 1776 году они, будучи двоюродными братом и сестрой, обвенчались вопреки закону, запрещавшему подобные браки. Синод и Совет при императрице требовали их развести. Екатерина же, осыпав юную Орлову всякого рода милостями, закрывает глаза на родство супругов, посоветовав им отправиться “на воды”, которые рекомендованы были Екатерине Николаевне врачами. Но 16 июня 1781 года она скончалась от чахотки в Лозанне на берегу Женевского озера. На одной из сторон ее саркофага изображен страдающий Григорий Орлов. Смерть жены повергла его в отчаяние, он потерял рассудок и менее

чем через два года последовал за нею. На смерть Орловой написаны были стихи Г.Р. Державиным, несомненно известные Цветаевой.¹⁸ История эта подробно описана А.П. Барсуковым...¹⁹

Строки в “Письмах”, отмеченные Цветаевой, “представляли дерзкое штюрмерское эпатирование общепринятых норм морали, аналогичное апологии любви брата к сестре в “Острове Борнгольме”, вызвавшем целую бурю откликов - от С. Боброва до Хлестакова, который со ссылкой на Карамзина и его “Остров Борнгольм” просил руки у замужней городничихи”.²⁰ Восстановлению одобрительной цветаевской отметки, стертой кем-то из последующих владельцев ее книги, послужило убеждение, что этот сюжет она пропустить не могла.

Одна из отметок, связанных с литературой, сделана Цветаевой против сноски Карамзина по поводу немецких представлений о Фаусте: “...простолюдины того века приписывали действию сверхъестественных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провозглашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне между чернию и в сказках” (22). М. Цветаева обратила внимание на иную трактовку Фауста - он не продает душу дьяволу, он его сообщник. Речь в карамзинском отрывке шла о книгопечатании, которое усовершенствует Фауст, приобщаясь к тайнам природы, что воспринимается в народе как общение с дьявольской силой. Именно на это народное толкование обращают внимание Карамзин и Цветаева, что позже скажется в ее поэмах “Переулочки” и “Молодец”.

Сделанная Цветаевой метка в письме от 2 июля касается посещения путешественником берлинского театра, где давали драму А. Коцебу “Ненависть к людям и раскаяние”. Карамзин сравнивает немецкую и французскую драматургию и актерскую игру, утверждая: “Я думаю, что у Немцев не было бы таких Актеров, есть ли бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических Авторов, которые с такою живостию представляют в Драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения, или Французские румяны, которыя человеку с естественным вкусом не могут быть приятны” (68-69). В отчеркнутых Цветаевой строках Карамзин повторяет мысль Лессинга, а также юных драматургов “Бури и натиска” о значительности Шекспира и немецкого театра конца XVIII века, которые противопоставляются ими

фальши и рассудочности французского театра XVIII - XVIII вв. Нападки на Расина и Вольтера типичны для немецкой литературы, их повторяет Карамзин. Цветаева с ее ориентацией на немецкую культуру и первенство эмоционального закономерно присоединяется к мыслям Карамзина.

С берлинских страниц "Писем" число "зарубок" увеличивается, поскольку оживляется ассоциативный ряд, порождаемый совпадением впечатлений, несмотря на временной разрыв. Липовая аллея ("Унтер ден Линден"), памятник генералу Шверину, погибшему под Прагой, зоопарк, театр, Сан-Суси, Потсдам, русская церковь... Осиротелость и пустота садов Фридриха Великого, где некогда гулял он со "своими Вольтерами и Дидеротами", вызывает у нее грусть, как и у автора "Писем". Цветаева разделяет с Карамзиным чувство восхищения таким "прекрасным городом, как Берлин". Отчеркнув, например, эту фразу Карамзина: "Прекрасный лужок, прекрасная рошица, прекрасная женщина - одним словом все прекрасное меня радует, где бы и в каком виде ни находил его".

Отметки Цветаевой, какой бы области человеческих чувств, конкретных фактов, личностей, городов, пейзажей они ни касались, проникаются культурно-историческими ассоциациями и выводят размышления и переживания Карамзина за пределы времени.

Карамзина и Цветаеву объединяет надвременное ощущение природы как гармонизирующего начала, в которой человек только один из ее компонентов. В письме из Женевы от 2 октября 1789 года Цветаева отчеркивает и отмечает крестом мысленное обращение автора к змее, которая едва только что не укусила его и чья жизнь была теперь в его власти: "Злобная тварь! думал я, смотря, как она ползла от меня по желтому песку: злобная тварь! жизнь твоя теперь в моих руках; но есть ли Натура терпит тебя в своем царстве, то я не хочу прекращать бедного бытия твоего - пресмыкайся!" (301)

Природа как толчок для выявления богатства души - так осмысливали ее сентименталисты. В мире перенасыщенных чувств картины природы, темпераментно воспринятые Карамзиным, родственны и Цветаевой.

Животное, как и человек, имеет бессмертную душу - утверждал швейцарский естествоиспытатель и философ Шарль Бонне (Bonnet, - у Карамзина, Боннет, 1720-1793). Карамзин был его первым переводчиком

на русский язык. Он опубликовал в 1789 году в журнале “Детское чтение” отрывок из труда Бонне “Созерцание природы”. В 1792-1796 книга была полностью издана в России в переводе И. Виноградова. Судя по “видеоряду” к “Письмам”, там, где речь идет о Бонне, Цветаева, следуя Карамзину, разделяет его идеи.

Главный труд Бонне - “Философическая Палингенезия, или Мысли о прошлом и будущем состоянии живых существ” (1769). Палингенез - от греческого *palin* (снова) и *genesis* (рождение) - есть верование в постоянное возрождение мира. Свое убеждение в том, что всякая личность во всех ее проявлениях, заблуждениях и аномалиях вписывается в организм мироздания, Бонне переносил и на природу авторского самолюбия. Цветаева-поэт особо, со знаком плюс, отмечает его высказывание: “Пусть Сочинители ищут славы! Трудясь для собственной своей выгоды, они приносят пользу человечеству; ибо премудрый Творец неразрывным союзом соединил частное благо с общим” (316).

Самому Бонне и его супруге, своеобразным Филемону и Бавкиде, как их называет Карамзин, было даровано судьбою то счастье, о котором в пору своего путешествия 1912 года задумывается юная Цветаева. Ее рука сделала последний след в “Письмах” против слов госпожи Боннет о своем супруге: “О его разуме, о его знаниях пусть судит публика; но я знаю, что любовь его, добронравие и нежные попечения составляют мое щастие. Мне кажется, что без него я давно бы лишилась жизни, будучи так слаба и не здорова; видя же его подле себя, терпеливо переношу все припадки, всякую болезнь, и вместо роптания изъясляю Небу благодарность мою за такого супруга” (324). Вспомним строки отчаянного письма Цветаевой С.Я. Эфрону 1921 года: “Если Богу нужно от меня покорности - есть, смирения - есть, перед всем и каждым! - но отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь...”²¹ Итак, первая помета Цветаевой в книге Карамзина есть похвала “Письмам”, выраженная через согласие со словами академика Буслаева, а последняя - кажется относящейся к ее мужу - через похвалу госпожи Боннет своему супругу.

Слова, которые путешественник у Карамзина говорит Боннету, отмеченные также Цветаевой, вполне определяют ее отношение к их автору: “Вы видите перед собою такого человека, <...> который с великим удо-

вольствием и с пользою читал ваши сочинения, и который любит и почитает вас сердечно” (314).

Цветаева, для которой любимый вид реального общения - переписка, своим пристрастием к эпистолярному жанру в какой-то мере обязана Н.М. Карамзину, его “Письмам русского путешественника”.

1 Саакянц А.А. Из книг Марины Цветаевой. Альманах библиофила. Выпуск XIII. М., 1982. С. 91.

2 До 1917 г. стоимость этого двухтомника даже на книжном развале выражалась бы в рублях. К тому же тогда в книжных лавках, как правило, ставили цены не в цифрах, а, к сведению приказчиков, - шифром, буквами из какого-нибудь (в каждом магазине своего) слова. Например, “республика”. Оно состоит из десяти неповторяющихся в нем букв, которым соответствуют цифры:

р е с п у б л и к а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Если книга оценивалась, скажем, в 10 руб., то хозяин ставил две буквы - “ра”, если в 295 руб., то три - “еку”, и т.д. Такая система давала возможность в момент продажи назвать покупателю и более высокую, а в каких-то случаях и более низкую цену, исходя из разного рода конъюнктурных соображений.

3 Кудрова И.В. Версты, дали... Марина Цветаева: 1922-1939. М., 1991. С. 28.

4 Саакянц А.А. Из книг Марины Цветаевой. Альманах библиофила. Выпуск XIII. М., 1982. С. 91.

5 Там же, С. 90.

6 Марина Цветаева. Письма к Ариадне Берг (1934-1939). ИМКА-ПРЕСС, 1990. С. 12.

7 Отсюда и далее все ссылки на текст “Писем” производятся по изданию, принадлежавшему М. Цветаевой, с указанием после цитаты номера страницы в скобках. См.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Т. 1. Изд. А.С. Суворина. СПб., 1884.

8 Цветаева А.И. Воспоминания. 3-е изд. М., 1983. С. 455.

9 Цветаева А.И. С. 113.

10 Там же. С. 130.

11 Там же. С. 137.

12 Там же. С. 149.

13 Там же. С. 137.

14 Саакянц А.А. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910 - 1922). М., 1986. С. 38.

15 Катаева-Лыткина Н.И. Дом Марины Цветаевой.// С любовью и тревогой. Статьи. Очерки. Рассказы. М., 1990. С. 385.

16 Цветаева М.И. О Германии.// Избранная проза. Нью-Йорк, т. I. 1979. С. 128.

17 Там же. С. 129.

18 Державин Г.Р. Сочинения. Изд. Я.К. Грота. Т. 1. СПб., 1864. С. 152.

19 Барсуков А.П. Рассказы из русской истории XVIII в. СПб., 1865. С. 176-190.

20 Лотман Ю.М., Успенский В.А. “Письма русского путешественника” Карамзина и их место в развитии русской культуры// Карамзин Н.М.// Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 574-575.

21 Кудрова И.В. Версты, дали... Марина Цветаева: 1922-1938. М., 1991. С. 24.

**ТОМАС
ВЕНЦЛОВА**

**ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ**

* * *

За наших белых стен квадрат
И за дверей квадрат,
А после - за окно двукрат,
За лампу в нём - двукрат,
За стран запретных аромат,
Где глохнет адресат,
За то, что внятен воздух над
Тобой, и за разлад,
За поездных гудков насад,
За ключ не наугад,
За каждого из нас - двукрат
Или четырёхкрат.
За голос, слышимый едва,
Из-подо льда слова,
За то, что два плюс два - не два.
И дважды два - не два.

1961

* * *

Живую плоть пронзают острия
Травы. Благословенна бедность. Розами
Воронежская почва стала. Рассказни
О прошлом - как забытые друзья.

Под сердцем десять (или даже больше)
Планет, и тяжесть дантовых кругов
Срывает ставни. И так близок, Боже,
Мой путь грядущий, телефонный зов.

Возвращенье домой караулит тебя в свой черёд -
Словно смерть. Там белесая пыль набивается в рот,
Маяки без огня, опустевшие рвы крепостей,
Стены рухнувших комнат, провалы разбитых дверей.
Ветер листья несёт. Побережье. Довольно свежо.
Над могилам свет сентября. Пред морским рубежом,
Стынут, полны пространством и прошлым, вблизи от земли,
Почернев от скитаний, на мелкой воде корабли.

Это старость чужая с годами вступает в права.
Там, за теми холмами, брачуются дождь и трава.
Это в чаще словарной, срастившей судьбы письмена,
Голоса из погибших миров возвращаются в нас.
Не страшись оглянуться: мне тоже знаком смертный пот.
Это тяжесть чужого дыхания плечи гнетёт.
Чернозём и колодезь забвенья. Примерь, как своё,
Это время чужое и чуждое небытиё.

Скоро осень. Меж досок и букв ты застыл, боязлив,
В грудях мёртвого мусора, что оставляет отлив,
В окружении спутников, коих давно уже нет.
И тебя, словно тень, поглощает немислимый свет.
Это время чужое - но ты в нём исчез без следа,
Не почуяв, как небо меняется, стынет вода.
Это дух опустелый, что больше, чем, собственно, жизнь,
На сетчатке дробится и в недрах предметов дрожит.

1967

* * *

Вновь пора расставаться с друзьями в ночных городках.
Свет, плывущий от лампы бесплодной, над ними витает.
И шоссе в Аукштадварис нас на пути обретает -
Его хвойное небо, смола и стволы сосняка.

Да, пространство Твоё, разрастаясь, внезапно густеет.
Ты ещё отдаляешь нас всех от конечной черты.
Ты, сужая зрачок, расширяешь мне зренье - до тени
От руки, до росы на брезенте. Сближаешь нас Ты.

Коль судьба поколения - сгинуть в забеге грядущем,
Да не будет нуждаться тот первый из нас, кто уйдёт,
В своём хлебе и соли насущных, в судьбе ненасущной,
И в воде ненасущной Твоей от небесных щедрот.

Совершенный, прервавшийся голос - невзгод и свободы
Провозвестник, не знающий лжи - да отыщет меня.
Так черны и сладимы должны быть на Немане воды,
Чтоб до дельты плыла, испаряясь, в ущербе луна.

1967

* * *

Опорой душ бессмертных, как всегда,
Предметный мир за стёклами лучится.
Неведомо, что может приключиться
Близ рек времён, иссякших без следа.

Увидим ли их мутный, рыжеватый
Поток среди иных домов и трав,
На негостеприимство расставаний
Земные соль и пепел разменяв?

Нет лета. Парапеты на запоре
Косого паруса, но глаз больной
Слепит холодным льдистым блеском море.
И воздух каменеет надо мной.

1969

* * *

Мы свиделись в гостях, средь слов чужих.
Стеклянная стена стояла между.
Хозяину же оставалось жить
Примерно с месяц. Может, даже меньше.

Дух, кружащий по стрелке часовой,
Расслышит горный звукоряд устало.
Нам смена поколений не впервой,
Как Мнемозина некогда сказала.

Сил не имея нас тобой спасти,
В гнездо зима отходит. И над миром
В пространстве меж зенитом и надиром
Безмолвье белым садом шелестит.

1970

* * *

*Напиши стихи о разговоре
с птицами.*

Из письма

Колодец крут, но в черноте его
Как будто не страшатся отразиться
Почуявшие странное родство
Созвездье, человек, тростник и птица.

Их свет един - по-разному вольна
Его ломать зияющая призма.
Чем прах и истина отделена
От серебристого дрозда софизма?

А в час, когда перед рассветом тощ
Небесный купол - осыпаться миру.
И прежняя беспмятная мощь
Их разбивает вдребезги, как лиру.

1973

* * *

Простор, рискованный как на фото. Вот
От кровель отшатнулся небосвод -
Он городской чумой белесой полон.
Мороз способен лёгкие обжечь
В Империи, где замерзает речь,
Рот обморожен, море на запоре.

Ни знака больше прошлое не шлёт.
Обугленное солнце в доски бьёт.
Скитальца родина приемлет в лоно -
Пространство тупиковое, к счетам
Непоправимо строгое. И там
В болоте тонут древние колонны.

Сегодня вторник. Ясно. Но почти
Зима. И к финским шхерам по пути
Низина льнёт. Застыла гавань - в месте,
Подобном центру сна. Сейчас, потом
Река запомнит времени надлом
И время перевоплотится в жесте.

1974

СЕСТИНА

Шесть вечера, и льдистая дорога
Ведёт на север, звякают убого
На шинах цепи. Эхо глухо, строго
Звучит. Над гладью озера - тревога.
Снег мартовский спешит прикрыть немного
Лесистый склон, чернеющий полого.

Недвижный лес, чернеющий полого,
Цепляет взгляд. Обман сулит дорога.
Снег, отражённый сам в себе, немного
Слепит глаза, и цепь берёз убога.
Журавль колодезный; царит тревога
В пустых домах. Но, поразмыслив строго,

Всё - сгустки воздуха. И эхо строго
Гудит в лесу, сползающем полого.
В графите зеркала живёт тревога
Тьмы непомерной. Но дана дорога.
Цепь, выпавшая из руки у Бога, -
Незримый снег. И он страшит немного.

Снег, старости весны страшась немного,
Следит за ней, и слух таранит строго
Звук эха многоликого. Убого
Мысль вязнет в склон, сползающий полого.
Бензин в порядке. Белая дорога
И просеки открывшейся тревога.

Вселенной студенистая тревога.
Лёд звёзд; снег, обезумевший немного,
Берёт в осаду дол, в плену дорога.
Тень, эхо, или призрак, зрящий строго,
Арденский лес, сползающий полого,
Обжили. Декорация убога.

Во благо ль груз цепей Твоих? Убога
Душа. В предметах прячется тревога.
Враждебен лес, сползающий полого,
Где снег походит на конвой немного.
Речь, эху уподоблена, не строго
Звучит. В Твой лес заказана дорога.

Как ни убого - мне одна дорога.
Полого сыплет снег. Свербит немного
Тревога. Ты - лишь эхо, если строго.

1975

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA

Памяти Константина Богатырёва

**Я прожил жизнь, учась небытию.
Меня настигла середина века.
Смерть, принятая некогда в семью,
В квартире потеснила человека.
Я эту тварь пытался приручать,
Просил её меня не трогать, чтобы
По-прежнему под утро наблюдать
Прекраснейший из городов Европы, -
Где ждёт железо выхода на свет,
Тростник гниёт во мраке без движенья,
Локомотив, булыжник и кастет,
А в лучшем случае - самосожженье.
Я ел, и пил, и спал в обнимку с ней,
Искал в ней цель и смысл, неосторожно
Хотел забыть её. Но с мыслью сей
Смириться человеку невозможно.**

**Я ключ вертел в замке, стремясь успеть,
И сердце в рёбра бешено стучало.
Для справки: в этом государстве смерть
Порой и правда может быть случайна.**

1976

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

**Болотный склон припахивает ржой.
Конь щиплет иглокожий луг. Усердьем
Восьми студенток стол сооружён.
Центр осени. В Огайо воскресенье
Росисто. И ржавеющий предмет -
Будь это клён или скелет вагона -
В лощине. И сгущающийся свет
Висконсина, Дакоты, Орегона**

**И Ориона. Боже, Твой обвал
В утраченном пространстве. Ставя мету
На сердце, дробном как прибойный вал,
Я возблагодарю за землю эту,
Что непрозрачна для меня (и ей
Я непрозрачен), но пригодна к жизни.
Знать, дряхлый пёс Улисса здесь скорей
Меня узнает, нежели в отчизне.**

**Благодарю за то, что смог задать
Вопросы не уверенный в ответе**

Бессонный мозг. За неба благодать.
За шелест трав. За терпеливый ветер
Над ними. За погост в чужой стране,
За камень, на который села птаха,
И за небытие. За то, что не
Захочешь воссоздать меня из праха.

За чёрную музыку сфер. За мрак,
Исчерпанный душой. Довольно странно:
Привыкнув к сумеркам, предметы так
Подобны тем, что там, за океаном.
Часы стремятся наперегонки.
Сетчатка, как проверенное средство,
Находит скатерть, звёзды и замки
Всё там же, где их находили в детстве.

1979

* * *

На расстояньи полумили - там, где
Из кремня искру высекло шоссе,
Мерцает лёд, но, в оттепель подтаяв,
Родник не отражает роци всей.

Пока ещё не время. Горечь мнима.
Во мгле прозрачной побережье льдом
Скуёт; и Бог, под видом струйки дыма,
Растает в воздухе. Я не о том.

Верь в зиму! Пей! Её настой холодный
Благословен. Гордись, что дома нет,
Как беженец, скукожившийся в лодке,
Вдыхая тьму и соли ясный свет.

Сон холмы Итаки окутал стужей.
Младенцы спят, дурных не помня дел.
И будет смерть, и мокрый снег снаружи,
И музыка, и никогда нигде.

1987

* * *

Ночью огромная книга словно крылами всплеснёт:
Может, словарь, а может - смысл запечатанный тайный,
Шифр, иероглифы, числа... Пламенем шитый Исход;
То, чему вторить не смеют ласточка, травы, кристаллы.

Тяжко кренясь, бесцельно слава созвездий плывёт.
Век, что сросся с душою, стёрся наполовину.
Души в плену у времени, плоти пространство врёт.
Разницы меж фотографией и лабиринтом не видно.

Золото, фосфор и магний! Тосканских небес электрод.
Тень отслоилась от звука и слово скудеет позорно.
Нет больше дисков звенящих, латынь умерла в свой черёд.
Синтаксис крошится. Глина, песок с чернозёмом.

Может быть, лишь междометиям, лишь удареньям дано
Всё упорядочить. Мало мёда вкусих, сумели
Зреть родники и камни, сад... Но нет всё одно
Внезапнее бытия и непреложней смерти.

Не вопрошай же: “Зачем?” Ибо в пространстве том,
Где ни холма, ни звезды, ни спасения душ не бывает,
Падший этрусский воин время теснит щитом;
Черпая смысл ладонью, мёртвый лик омывает.

1987

TU, FELIX AUSTRIA*

Вот город, где
устали мир спасать, как прежде было;
где столько неврастеников излило,
сварясь в стыде,
свой липкий сон
в кушетку кабинета, как в утробу;
где мыслил смерть стареющей Европы
позорный сын,

художник, не
воспринятый братьями по цеху, -
качается, слегка бряца цепью,
лодчонка на волне;
каштаны над водой.
В кафе хрипенье давешнего рока,
и не руины - зримое барокко
с большой звездой,

* “*Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube*” - “Пусть воюют другие, ты, счастливая Австрия, справляй свадьбы” - старинный девиз австрийской империи.

цепляющей балкон -
гордыни знак. Ритм - мысли усыпляет.
Зрак - гнутый воздух площади вбирает
со всех сторон.

Прозрачность в точь
такая, что, ступи по тверди зыбкой, -
лишь амальгаме пульса и музыки
дано помочь.

Сверкают облака.
Бредёшь под арками, алкая тени,
с гранитом, с пылью, с листьями сирени
сливаясь, языка
единого не находя
с гармонией - ты, столь внезапно выдран
из времени, ещё не сделал вывод:
несчастье это или дар.

Вершина. Сгорбленный Сизиф
вкушает мирный отдых, привыкая,
свою ладонь от блещущего камня
со страхом отделив -
что вместе с ним
прошёл бессчётные зоны, грабя,
но закаляя дух, а нынче, в гравий
зарывшись, безымянен, недвижим.

Такой покой.
Шиповник пенится в пространстве дымном;
впервые звать судьбу на поединок
нет никакой
нужды - скользить в траве, страшиться змей,
не знать, чем склон кремнистый обернётся;
спустя мгновенье молодость сотрётся
из памяти моей.

Итак, талант
покоя овладел душой всецело,
и лишь удары колокола: "Bella
gerant" -
её чуть-чуть смутят.
И если ночью в море Австр бесчинный
убогий плот отдаст во власть пучине,
погибнут там

уже не мы.
Кровь выцвела, танк оплетает зелень.
Конец эпохи, и иные земли
ушли под власть чумы.
В то пограничье, где в ответ
Христу ли, Моисею ли морзянкой
пошёл брехать калашников - назавтра
уже не взять билет.

Барокко облаков
над замком Габсбургов. А там - за гранью,
за горизонтом - где и воздух ранит,
где смертный, бестолков,
в расселинах таится под огнём,
свинцу живую плоть искать не надо -
зазора нет меж Францем Фердинандом
и настоящим днём.

Порушенный осколками ковёр
листвы, как чёрный гипс, забился в глотку.
Сатурн, как на заре времён, в охотку
детей сжирает до сих пор.
И всё-таки не здесь
боль воедино сплавит день и вечер,
презрев предел, что у страданий вечных
для смертных есть.

На каменном полу,
спят беженцы, и воздуху свободы,
не зная сновидений и заботы,
творят хвалу.
Но те, кто там лежит,
дырой в виске спасённый от сражений
земных, кто видит сны, живых тяжеле, -
счастливей тех, кто жив.

Смерть вечно рядом - а не там, где прах.
В вине и хлебе, в звоне колокольном,
в жаре, в граните и в прохладе комнат,
в тени каштанов и во снах.
История - часть смерти. Знак
того, что прав не Гегель - Галилео:
Erripit si tuove. Обугленный, нелепый
шар совершает поворот во мрак.

Что мнилось настоящим - есть
лишь отрицанье времени. Дремота
не освежит. Раскрыто для полёта
окно. Но смерть не здесь.

Смерть рядом. Рукописи теребя,
рвёт лист календаря привычным жестом,
у зеркала глядится в отраженье -
в тебя.

Пока в стеклянном воздухе она
замешкалась, Сизифу в этом старом
бессонном городе, где не пристала
мысль о добре и зле, дана
отсрочка, чтобы здесь, сейчас
познать суть мифа, коль ещё не поздно,
и тщетно ожидать трубы Господней
на склоне, остром как алмаз.

1992

* * *

И нам до черты горизонта свиданье отмерено.
Яснеет зрачок, и душа распрямляется медленно,
часы застывают, аллеи уходят намеренно

на светлый пустырь. В духоте не отыщешь хозяина.
Стволы в серебристой опушке склонились и замерли,
ни ласточки нет, ни судьбы, ни Господнего замысла.

Вселенная взор утомляет - как мозг мучат шахматы.
Глаз зрит не инобытие - алкогольные шалости.
Лет десять минует, и мы уравниемся шансами.

Волна крошит острые льдинки меж пальцами мокрыми
и лён занавески колышет морское безмолвие.
Лишь то, что уловит силок амфибрахия, может быть,

останется: ветви платанов, останется вышнее
Ничто, что окутало пенистый брег. И, для выживших,
любовь, что - по Данту - есть вечных светил
Перводвижитель.

1995

ДВОЙНОЙ СНИМОК

Ненадолго сковавшая море, раскаивается метель,
вчерашний Борей утратил удаль (вперёд наука!),
сокрытые льдом, незримы проблески рыбьих тел,

скорость тишины в сугробах больше скорости звука.
Время, не останавливаемое памятью, течёт
сквозь просветы меж иглами. Вода незаметно тает
сквозь трещину в глине кувшина, так блекнет небесный свод,
так стрелку на колокольне клонит тумана тяжесть,
где слиты снег со щекою, тело и тёмный лес.
Так дланью черпают оттепель - лучше чем дельтой иною,
так взгляд в феврале, не касаясь пустых небес,
довольствуется пустотой земною.

1996

К АРИЭЛЮ

Тону в лесном отвесном мареве.
Одолевают, словно сон,
Владенья царственной, дымящейся
Травы - как на заре времён.

И там, где прорезь солнца, - нехотя
Приоткрывает мне черты
Дух музыки крылатый, некогда
Служивший у Просперо. Ты,

Шутя, бессмыслицею мучиться
Заставишь - пусть ей грош цена.
Ты знаешь как никто, что в мудрости
Сокрыта страшная вина.

Её не заглушить раскаяньем.
Благослови же память, слух,
Оковы тела мне раскалывай,
Но не щади меня, мой дух!

1997

TRISTIA

В базилику с рассветом влетает
Ветер, тяжестью схожий со льдом.
Накренённое позднее пламя
Свеч едва защищает ладонь.
Глаз замыленный не успевает
Ощутить, как столица слетает
В темноту - но цепляет рука
Над шумливыми Стикса валами
Сей бесплодной скалы вертикаль.

Несший omnia sua в котомке
За плечами, глазниц пустотой
Без труда уследит звёзд над Понтом
Прихотливый редующий рой.
Пряха, нить обрывая, в потёмках
Забывает о блудном потомке,
Но с чужих берегов ввечеру
Зов Эвтерпы летит, эхом полнясь,
Что Уранию кличет, сестру.

Кто поймёт, где сухарик изгнанья,
Где отечества хлеб? Знать, вольна
Муза славить и радость и горесть -
Даже здесь, где застыла волна,
В зоне ужаса и воздаянья,
Где бумага черна от страданья,
Где Назона нельзя отразить
Водам. Тучи уносят твой голос
В город, коему больше не быть.

Там, где говор кочевников льдистый
Ранит горло, где воздух тяжёл,
Где лишь пламя - его не задует
Ветер Севера - стойко, как ствол
С почкой, прячущей лист серебристый;
Там, где время играет в дистих -
Тот, кто слился с землёй и травой,
Не расслышит, как воздух ликует,
Заселённый латынью живой.

1997

*Перевел с литовского
Виктор КУЛЛЭ
Москва*



**ОБЕРНУВШИЙСЯ
У
РУБЕЖА**

М. К.

По тропе среди обломков надо было слегка подняться а
наверх. В подземелье все сбивало с толку: b
провалы, испуг, рассыпчатая пожелтевшая глина, c
иероглифы скал, темноволосый лес, c
утопленником выплывший из сумерек. b
Страннику казалось, что он потерял направление a

от пропасти, где души мелеют [теряют глубину] и
засыпают,
к земным полям. Но музыка становилась сильнее
[росла]

в мозгу - мощь, которой покоряется Аид,
явившаяся раньше нас, в небытии нашедшая
себе форму, превосходящая гиперборейские
льды и нильский жар. Ибо лишь она имеет смысл.

Она отступала в тишину и была тем больше,
чем беззвучнее, еле угадываемая под черным
каменным сводом, где Хронос отдыхает от
разрушения,

обещая выиграть возврат
из тьмы зеркал, освободиться от яда,
одеть телом прозрачную пустоту, продолжить

то, чего нет. Вдалеке мерещились неспешные
шаги тени. Стерев прохладный пот
с лица, он приносил в жертву Сафо и Терпандра,
которые еще не родились, во имя этого спутника.
Бессветный завиток кудрей, нежное пятно на щеке...
Если лоскутья мышц опали, как одежда

с костей, осталась ли улыбка? Влекшая его
властная жажда приказала обернуться.
Все та же ли она? Помнит ли, хочет ли
опять обрести ощущения, злополучный вес желаний,

судьбу, будущее, себя? Если нет, тогда существует только ночь Фракии, ее флейты и менады.

Он взглянул назад. Мир переменялся,
ландшафт почти исчез. Раздавались клики робких
жительниц приморья [чаек], и Эвр хлестал дикий
склон, как струна изогнувшийся от волны.
Скалы кончились. Дальше белели звезды,
которые спустя много столетий встретят другого певца.

*Шестистопный ямб, местами без цезуры. Все
рифмы женские.*

*Стихи об Орфее и Эвридике (написаны до извест-
ных стихов Милоша, летом 2002 года). Имена героев
даны только в анаграммах (“форму ... гиперборей-
ские”, “Эвр ... дикий”). Фракия - страна, где менады
растерзали Орфея. Смысл стихов в том, что Орфей
готов принести в жертву всю будущую поэзию, если
ему удастся вывести Эвридику из Аида, но ему не
удается, и поэтому спустя много столетий по-
явится Данте, который также посетит ад и выйдя
из него увидит звезды.**

* Подстрочник с литовского - самого автора. С вариантами (в скобках),
техническими пояснениями, расшифровкой смысла. - Ред.

**ТАТЬЯНА
ЯСИНСКАЯ**
**НАРУШИТЕЛЬ
МИФОВ**

Когда этот внешне весьма скромный человек с негромким и далеко не ораторским голосом ненадолго появляется в Литве, здесь начинаются странные явления. Томас Венцлова как будто не делает ничего на родине особенного и специального: представит в достаточно узком кругу коллег свою новую книгу или научную работу, даст два-три интервью, пообщается с живущей в Вильнюсе мамой и друзьями, побродит несколько дней по любимому городу, посидит в кафе и спокойно уедет восвояси.

А по Литве тем временем начинают расходиться круги последствий его очередного визита - в прессе и частных разговорах закипают нешуточные страсти. Потому что, как опытный хилер,* безо всякого скальпеля, он легко проникает своим негромким, но бесстрашным словом в самые потаенные закоулки социального организма и вытаскивает оттуда на свет Божий заплесневелые стереотипы, застарелые комплексы и прочие любимые заблуждения и предрассудки. Словом, все то, что жестко известкует каналы свободного течения мысли всякого свободного человека.

Ну кому, скажите, понравятся подобные болезненные вмешательства без предварительных увещеваний и какой бы то ни было анестезии? Лечение-то, может, и бескровное, зато болезнь - настоящая. (Так академик Сахаров, выходя из зала только что освиставшего и буквально согнавшего его с трибуны съезда народных депутатов, говорил с неподдельным сочувствием: "Я же не хотел их обидеть - что они, право, так разволновались...")

Сегодня литовский поэт, переводчик, ученый-семиотик, профессор ряда американских университетов, литературовед и эссеист Томас Венцлова в самом полном смысле - че-

Татьяна Ясинская (Вильнюс-Клайпеда, Литва) - публицист, общественный деятель, председатель правления Русского культурного центра.

** Healer (англ.) - исцелитель (не путать с киллером!). - Ред.*

ловека мира. Преполагает в одном из самых престижных университетов США - Йеле; пишет на четырех, а публикуется на многих языках; живет между Нью-Хейвенем, Вильнюсом и Краковом, а по-настоящему отдыхает, когда открывает для себя все новые и новые края.

Однако подобная легкость передвижения и полнота существования в географическом и культурном пространстве далась ему отнюдь не сразу и, как говорится, не задаром. Задолго до нынешних свобод - и, честно сказать, безо всякой надежды их дожидаться на своем веку - Венцлова почти всю свою сознательную жизнь сам настойчиво расширял собственные внутренние границы, постепенно впуская и впитывая в себя многообразие мира. Он делал это многие годы подряд, несмотря ни на какие трудности, неудобства, обшивания, гонения, а подчас и откровенный риск для жизни. Делал до тех пор, пока в одночасье сам не стал неотъемлемой частью этого единого мира. Теперь уже с полным правом и навсегда.

**“Иногда необходим и такой голос,
с которым никто не согласен”**

Его литературная и человеческая судьба складывалась прихотливо и как будто наперекор заданным от рождения обстоятельствам. Он родился и вырос если не “с серебряной ложкой во рту”, то во всяком случае во вполне благополучной семье широко признанного литовского поэта, к тому же видного партийного деятеля советской Литвы, что уже само по себе сулило хорошее образование и - при наличии хотя бы минимальных способностей и прилежания - вполне успешную карьеру.

Конечно, ни один ребенок, родившийся в Восточной Европе (а конкретно - в Мемеле*) накануне Второй мировой войны, не был гарантирован, что уцелеет вообще, но Томас уцелел. Немецкую оккупацию пережил в Каунасе, в доме деда с материнской стороны, где всем своим еще почти младенческим существом испытал первые экзистенциальные страхи: собственной смерти и возможной потери самых близких людей, что для маленького ребенка почти одно и то же.

Примерно с трех лет начал читать на родном языке. Грамоте его как-то незаметно обучила дочка родительских друзей, сама ненамного старше Томаса.

После войны семья переехала в Вильнюс, и одно из первых столкновений Томаса с этим удивительным городом было драматичным и, как теперь говорят, знаковым. В один из

**Ныне Клайпеда (Литва). - Ред.*

первых учебных дней мальчик вышел из школы и не смог отыскать дороги домой - заблудился в развалинах полу-разрушенного войной города. Стал по-литовски обращаться к прохожим, но никто не мог понять малыша и помочь: всем здешним послевоенным поселенцам - не только Томасу - еще предстояло постепенно восстанавливать и осваивать многоязыкую природу этого уникального места.

Проблуждав несколько часов, мальчик все же попал домой. Будем думать, что от паники и отчаяния его спасла врожденная интуиция и сама природа этого спиралеобразного, уютного, надежного средневекового гнезда, где так легко укрыться в любом закоулке, ненадолго замереть в пору природной или исторической непогоды, зато почти невозможно пропасть навсегда - хоть клочком рукописи в расщелине стены, хоть полуистлевшей одеждой забытого покроя, хоть едва проступающей под новой штукатуркой старинной фреской, хоть обрывком мелодии - здесь непостижимым образом остаются навсегда все, кто когда-то тут жил, любил, творил, пел, молился...

В восемь лет Томас освоил русский, и ему постепенно стала доступна обширная отцовская библиотека, собранная в довоенной Литве и отчасти Москве военных лет и включавшая в себя как практически всю литовскую эмигрантскую литературу, так и запрещенные к тому времени русские книги.

Потом Томасу очень повезло в школе с учителем русской словесности. Им стал Михаил Шнейдер, о котором Венцлова по сей день вспоминает с любовью: "Вместо программных Горького, Шолохова и Фадеева учитель почти целый год читал нам Маяковского, причем почти исключительно раннего, дав понять и почувствовать этого, по словам Ахматовой, "великого трагического поэта". Еще в школе Томас перевел на литовский "Облако в штанах" и "прочел всего Маяковского, причем не без удовольствия".

Так начался процесс литературного самообразования в целом. Читая тексты Маяковского, юноша одно за другим открывал для себя все новые и новые имена - Блок, Есенин, Пастернак... Оказалось, в отцовской библиотеке они все более или менее есть, и "отец обо всех этих поэтах не только слышал, но втихомолку их уважал". Из прогремевшего на всю страну "сочинения А. Жданова" Венцлова узнал еще одно дорогое для себя в будущем имя - Анна Ахматова, а затем - уже в университетские годы из самиздатских рукописей - ее стихи, а также сочинения Мандельштама, Цветаевой, Гумилева, Ходасевича...

Русские поэты дали Венцлове, по его собственному признанию, "уроки гражданского мужества, точнее - граждан-

кого достоинства, которые далеко не всегда давала поэзия на родном языке". Так годам к двадцати у будущего поэта и ученого сформировались, по его словам, "диссидентские - во всяком случае не совсем тривиальные для недавнего советского школьника - литературные вкусы".

В 19 лет Томас выучил польский, и перед ним широко распахнулся не только мир еще одной родной для Литвы литературы и культуры, но и - через польские переводы и прессу, которая свободно продавалась тогда в Вильнюсе, - почти все мировое пространство. Довольно успешно младший Венцлова вскоре дебютировал в литовской печати как поэт и переводчик, однако его нарочитая "космополитическая всеядность" - живой интерес к неофициальной литовской, русской и польской литературе - вызывала глубокое неодобрение местной культурной элиты и неприкрытое раздражение здешних литературных начальников.

Дело довершило советское вторжение в Венгрию. Венцлова опять не смолчал, не спрятался за надежную отцовскую спину, за что был на год исключен из университета. В постепенно оживающем многоголосье любимого города, в прекрасную пору своего юношеского расцвета, Томас начал откровенно задыхаться в атмосфере тех сложно-сочиненных комбинаций, что без усталости разыгрывала местная культурная знать, ловко балансирующая между глубоким внутренним отвращением к советской власти и оголтелой дележкой предоставляемых ею номенклатурных благ.

Молодого Венцлову отчаянно потянуло из этого мелкого "болота" на "большую воду". Для начала - в Москву, Ленинград, а там - как Бог даст.

Помимо книг, любимого учителя и друзей, уезжая, он чувствовал отдельную глубокую благодарность к отцу. "Он никогда не мешал мне читать и писать то, что я хочу. (...) Несмотря на противоположные взгляды, нам удавалось сохранять отношения любящих отца и сына. (...) Отец никогда не составлял мне литературных и иных протекций, и это была совершенно правильная позиция".

И - добавим от себя - совершенно нетипичная для маленькой Литвы, которую сами местные жители из-за тотально пронизывающего все сферы жизни протекционизма называют не иначе как "страной свояков и двоюродных братьев".

Так Венцлова нарушил первый миф - поведенческий.

Четырехслойное сознание

Первая эмиграция была недалекой и как бы не вполне настоящей: в конце концов Венцлова "эмигрировал" в рамках одной страны: из Вильнюса - в Москву и тогдашний Ленин-

град. Однако такой резкий отход от родного языка и культуры всегда считался опасным для начинающего литератора.

В литовской среде - особенно, ведь именно язык - после многолетней партизанской борьбы, после возвращения из до- и послевоенных лагерей и ссылок - стал здесь одной из форм негромкого, но чрезвычайно упорного сопротивления непрошенной советской власти.

Именно в языке, в его общепризнанной и общеизвестной архаике, литовцы снова и снова обретали свою историю, духовную силу и живую связь поколений. Именно язык они старались прежде всего сохранить и передать детям в любой ситуации и в любой стране - будь то сибирская ссылка, военная эвакуация или эмиграция. Пожалуй, ни в одной другой республике бывшего СССР не выходило столько газет и журналов, не печаталось столько книг на родном наречии, как в Литве. В эмиграции же литовцы воздвигли себе и вовсе уникальный памятник, издав в США 37-томную национальную энциклопедию.

Однако такого рода логоцентризм внутри самой Литвы был спасителен и одновременно избыточно-удушлив. Сопротивление советскому влиянию приобретало форму тщательного оберегания национальной культуры от влияния каких бы то ни было других культур вообще - в особенности, конечно, русской, как идеологически скомпрометированной, и польской, с которой все еще не были сведены давние исторические счеты.

Приняв в себя и войдя как исследователь и переводчик в лоно этих двух, самых подозрительных на местный обывательский взгляд литератур, Венцлова смело нарушил еще один миф - мнимого языкового превосходства и первостепенности. Пройдут годы, и Иосиф Бродский назовет его "сыном трех культур, притом сыном благодарным, имея в виду, что Венцлова владеет - а, может быть, точнее было бы сказать, что он спас их для себя - тремя родными языками: литовским, русским и польским".

Сам же Томас Венцлова всегда полагал, что "чересполосица культур, их пересечения и сращивания, их непроницаемость, их несходные ритмы многому учат". И благодарно постигал эту науку, переводя на литовский Ахматову и Бродского, Мандельштама и Пастернака, Хлебникова и Ходасевича, обоих Милошей и Норвида, Шимборску и Баранчика, Кавафиса и Одена, Фроста и Рильке, Лорку и Элиота...

Мало того, что переводил и печатал стихи, он использовал любую возможность для того, чтобы раздвинуть узкие рамки в сознании читающей по-литовски публики: "...ценности нашей деревни и нашей языческой культуры мне доволь-

но малоинтересны. С детства я испытывал влияние города, других национальных культур и это, надеюсь, вышло к лучшему." "Главная цель стиха - преодоление отчаяния, победа над энтропией. Насколько эта цель достижима - вопрос второстепенный, но она встает перед поэтом в любой точке земного шара".

Венцлова со временем оказался не менее "всеяден" и в своей академической карьере. Как профессор литературы он вел в разных американских университетах не менее пятнадцати различных курсов, включающих в себя, помимо родных литовской, русской и польской, также лекции по армянской, киргизской, грузинской, эстонской литературе. "Здесь, наверное, уместна аналогия со временем Великого княжества Литовского, - сравнил он однажды, - когда, скажем, португальский подданный преподавал в Вильнюсе на латыни... По-моему, это здоровый процесс, в основе которого широкое самосознание. В моем случае - четырехслойное".

Когда к трем родным вильнюсским языкам в заокеанской эмиграции надо было срочно добавлять качественный английский, первые публикации Венцловы редактировали его же тамошние студенты - профессор им по сей день благодарен.

В конце концов, как он сам считает, Венцлова нарушил основополагающий, свойственный как литовцам, так и русским, миф о том, будто человек не может существовать вне родины. Дескать, без нее он безнадежно вянет, гибнет, страдает, ностальгирует и т.п. "Напротив, - пишет Венцлова, - мне кажется, что пуповина, связующая с родиной, может быть перерезана, и это позволяет человеку повзрослеть".

К тому же поэт и ученый совершенно уверен, что литовского читателя ему удалось заинтересовать своим творчеством именно благодаря эмиграции - "до этого интерес был минимальным".

Волшебная амальгама

Еще в юности, в России, к литературному диссидентству Венцловы самым естественным образом добавилось идеологическое - все неофициальные литературные тропы тогда так или иначе вели к этому. Начавшаяся в Ленинграде дружба с Иосифом Бродским, Евгением Рейном, Анатолием Найманом, вхождение в близкий круг Анны Ахматовой и Надежды Мандельштам, знакомство с Борисом Пастернаком и Алексеем Крученых, чтение неподцензурной русской и запрещенной зарубежной литературы - все это не могло не сыграть своей роли в стремительном расширении мировоззрения пытливого литовского литератора.

И если за неугодные властям художественные тексты все

еще можно было запросто оказаться в ссылке, как Бродский, Синявский, Шаламов или Солженицын, а то и вовсе бесследно сгнить на лагерных задворках, как незадолго до этого Мандельштам, Карсавин и еще сотни светлейших и талантливейших личностей, то путь из литераторов в правозащитники оказывался в СССР куда как прям и короток.

Так что совершенно логично первый литературно-диссидентский поход Томаса Венцловы в 1976 году закончился его открытым письмом в ЦК литовской компартии с выражением глубокого непочтения к правящему режиму и просьбой отпустить на все четыре стороны, т.е. в эмиграцию. Примерно в то же самое время Венцлова стал одним из создателей правозащитной литовской Хельсинкской Группы.

И снова не обошлось без нарушения очередного мифа.

Во-первых, литовская группа - в отличие, скажем, от такой же грузинской или украинской - изначально была интернациональной по своему составу и весьма разнообразной по целям объединившихся в нее участников. Тут были и деятели католического подполья, и бывшая эсерка, и многолетний сионист-отказник. Все они, в общем, прежде всего отстаивали идею независимой от советской власти Литвы, а потом уже личные приоритеты. Но когда на одном из первых заседаний кто-то из подпольщиков предположил обсудить невероятное - "а вдруг мы победим, и в будущей независимой Литве будут нарушаться права коммунистов?" - все единогласно решили, что "как бы это ни было печально, придется защищать и коммунистов". Права человека, по общему разумению, изначально оказывались выше прав нации. Венцлова этот урок усвоил твердо.

Пару лет поколебавшись между арестом и высылкой за кордон, власть неожиданно все же выдала Венцлове заграничный паспорт. На сборы отпустили неделю. Он увозил с собой в эмиграцию лишь четыре чемодана: два с бельем и два - с любимыми книгами, которые, конечно, можно было приобрести и на Западе, но добровольно расстаться с теми, первыми и бесконечно любимыми, Томас просто не мог. (Они и сейчас стоят, все целехоньки, на его книжных полках.)

По счастью, езда в незнаемое и отчаянный прыжок в эмигрантскую потусторонность дались Венцлове без особых травм - он приземлился за океаном в объятия к своему давнему переводчику Чеславу Милошу, перед которым к тому же за Томаса ходатайствовал Иосиф Бродский. Словом, все сложилось на удивление благополучно, но еще долгие годы Венцлова представлял за рубежом интересы литовских коллег-правозащитников, все шире и шире развивая эту тему и в собственном публицистическом творчестве.

Его открытая переписка с Милошем конца 70-х годов "Вильнюс как форма духовной жизни" давно стала хрестоматийной. Но оттого не менее актуальной:

"Одним из величайших несчастий в мире являются стадные инстинкты и обязательные жаргоны - коммунистические, антикоммунистические, любые другие. Шанс высказать что-либо осмысленное у нас появляется только тогда, когда мы решаемся на спор, отрешаемся от привычного. Особенно, если речь идет о такой тонкой материи, как национальные отношения и взаимные счеты".

"Соединение различных национальных систем, взаимные проекции и даже столкновения (пока дело не доходит до уничтожения) оживляют и обогащают культуру, которая тем самым становится орудием, помогающим и позволяющим человеку более адекватно ориентироваться в мире, говоря иными словами, дает человеку возможность жить и выжить".

"Народ - такое же мифологизированное явление, как класс, как партия. Из истории мы знаем, как жестоко временами заблуждались и немцы, и русские, и, очевидно, все народы мира. Народ мне дорог настолько, насколько его обычаи, история и современность воплощают свободу и правду - ценности, стоящие выше самого народа".

Позже не менее страстной и беспощадной оценке Венцлова не раз подвергал и трагически сложившиеся в годы Второй мировой войны литовско-еврейские отношения. "Я, литовец, обязан говорить о вине литовцев. Садизм и грабежи, презрение и позорное равнодушие к людям не могут быть оправданы; хуже того, они не могут быть объяснены, они живут в столь темных углах народного сознания, что искать их рациональные причины - бесплодное занятие. Некоторые скажут: "Что же, евреев убивали не литовцы, а подонки, к литовскому народу они не имеют отношения". Я и сам подобное говаривал. Но это неверно. Если считать народ огромной личностью - а непосредственное ощущение говорит, что эта персоналистская точка зрения единственно ценна и справедлива в мире моральном, - то к этой личности причастны все в народе - и праведники, и преступники. Каждый совершенный грех отягчает совесть всего народа и совесть каждого в нем".

В общем, недаром Владимир Буковский называл Томаса Венцлову "первым евреем, которого за две тысячи лет родил литовский народ".

В независимой нынешней Литве национальные страсти, вроде бы, поутихли.

А, может, просто перешли в новую стадию - холодного равнодушия друг к другу?

И снова Венцлова предпринимает нестандартный прием, поражающий не экстравагантностью, а органичностью: издает на литовском, английском, польском и русском языках путеводитель "Vilnius-Wilno-Vilna", пожалуй, впервые делающий акцент на Вильнюсе "как городе нескольких культур, накладывающихся друг на друга, но друг друга не уничтожающих". "Литовцы любят объяснять, - пишет Венцлова, - но не всегда могут объяснить ту сложнейшую амальгаму культур, которая существовала в так называемой исторической Литве и вильнюсском крае..., не каждый житель которого разбирается в этой тонкой смеси, в этом конгломерате языков, традиций, стилей поведения, да и генетическом конгломерате, рождающем больших поэтов... Культуры здесь сталкивались, взаимно проецировались, порой друг друга уничтожали, но и воспитывали..."

"В этом польско-литовском регионе политика настолько запутана, настолько интересна, это такой рокамболь и такие истории там приключались, что говорить можно... без конца. История этого региона - приключенческий роман, причем роман этот начинается века с четырнадцатого и уже без остановок идет до наших дней".

Так что совершенно неудивительно, что именно с этим приключенческим романом в руках - путеводителем Венцловы - сегодня то и дело встречаешь на вильнюсских улицах поляков, англичан, французов, русских, литовцев...

"Под щитом Ахиллеса"

Первый сборник стихов Томаса Венцловы "Kalbos ženklas / Знак языка" вышел в Вильнюсе в 1972 году. С тех пор, как он сам считает, он "пишет, в сущности, одну книгу, в которой наберется к концу жизни примерно 200 стихотворений". Пишет исключительно по-литовски, считая этот язык для себя сакральным поэтическим языком.

Знатоки утверждают, что "там, где начинаются стихи Венцловы, почти бесследно кончается его публицистика, его диссидентство и даже профессорство в Йеле. Венцлова - поэт огромный, а потому Вильнюсу он принадлежит почти в той же мере, что и Петербургу или Нью-Хейвену". Его вышедшая два года назад в Москве по-русски книга "Граненый воздух" стала одним из самых ярких событий в мире русскоязычной поэзии последнего десятилетия.

Сам о своих стихах Венцлова говорит так: "Я своего рода классицист, я придерживаюсь линии Мандельштама, Бродского (не сопоставляя себя, конечно же, с ними), поэтому моя поэзия строгая, ретроспективная, хотя в чем-то иногда и экспериментальная". Венцлову обычно относят к современ-

ным неоклассикам, в ряду которых принято называть Бродского, Милоша, Кавафиса...

Стало быть, Венцлове неслучайно так повезло с переводчиками: "Меня переводил покойный Иосиф Александрович (два стихотворения, что можно считать билетиком в бессмертие), Горбаневская, Кушнер, Гандельсман, Куллэ... А когда в 1973 году Чеслав Милош впервые перевел и опубликовал мое стихотворение (я тогда еще жил в Вильнюсе), я почувствовал себя словно посвященным в рыцарский орден. И впервые осознал, что имею право заниматься тем, чем занимаюсь".

Милош-Венцлова-Бродский. Об этом тройственном союзе "под щитом Ахиллеса" (так в стихотворении, посвященном Бродскому, Венцлова обозначил лист бумаги и поэзию вообще) - уникальном поэтическом и человеческом братстве - написано и сказано немало. Теперь же все "ключи от этого сейфа" исключительно в руках Томаса Венцловы. Ему и предоставим слово: "Говоря о Милоше и Бродском, важно сохранить масштаб. Они - гиганты, а я - напротив - не гигант, но так случилось, что, общаясь, каждый из нас представлял свою нацию. Бродский... считал себя русским поэтом, т.к. совершенно справедливо полагал, что значение имеет язык, на котором пишешь. Так что это был русский поэт и англо-американский эссеист... То же с Милошем, который не считал себя в полном смысле ни поляком (по языку), ни литовцем (по месту рождения), а скорее "последним гражданином Великого княжества Литовского". Моя ситуация схожа с ними. Так что, как говорил Милош, мы общались "как три независимые силы", и было бы огромным счастьем, если бы так же сумели общаться наши нации и государства - Россия, Польша и Литва".

Быть может, высокий опыт этого "ахиллесова братства" - в чем-то и наш предопыт, дорогой читатель, предопыт многих из нас? Размышляя в подобном духе, Венцлова сказал однажды: "Пример Милоша вселяет надежду. Он сделал то, что необходимо сделать людям, сейчас покидающим страны Восточной Европы, - сохранил духовную цельность и пробился на родину. А сделанное однажды может быть сделано вообще". Венцлове, во всяком случае, это тоже блестяще удалось.

У него весьма обманчивая внешность. Он и сам это знает. "Я кажусь размазней и шляпой, а на самом деле, если надо, подтянут, все делаю вовремя и правильно. Кажусь человеком слабым и нервным (и действительно бываю нервоз-

ным, даже очень), но, когда надо, чистый “железный Феликс”. Кажусь мрачным, скучноватым профессором, а на самом деле - остряк и хулиган (мы с женой с утра до вечера частушки сочиняем, это наш фирменный семейный жанр).* Кажусь человеком, ничего не замечающим, а на самом деле глаз схватывает, что надо, и даже более того”.

Самый близкий друг - жена Татьяна - продолжает описание: “Томас выглядит сумрачным и насупленным просто из-за строения лица, оттого что надбровья сильно выступают. Но как только он распахнет свои глаза, сразу видно, что они голубые и совершенно детские”.

Когда он уезжал в Америку, большинство вильнюсских жителей, в том числе местный КГБ, были, по словам Томаса, абсолютно уверены, что он за границей пропадет, т.к. ничего не понимает в людях, которые его непременно охмурят, загубят и вообще - “Америка - страшная страна, где надо вгрызаться друг другу в глотку”. И раз Венцлова этого не умеет, он либо погибнет, либо сам вскоре запросится обратно в СССР.

Примерно такой же разговор зашел однажды и в близком домашнем кругу. Мама стала привычно жаловаться давнему приятелю Томаса - Эйтану Финкельштейну - на неспособность своего сына к жизни и его катастрофическое неумение разбираться в людях. “Зато Томас понимает в человечестве, ” - спокойно, как нечто само собой разумеющееся, тут же изрек приятель. Встревоженная мама мигом успокоилась. И на чужбине, как мы теперь знаем, Томас Венцлова действительно не пропал.

*Вильнюс
ноябрь 2004*

* См. интервью Т.Я. “Наш семейный жанр” - “Вышгород” 5,98. - Ред.



Только внимательно оглянувшись назад, мы с удивлением обнаруживаем в своем минувшем некие знаки пророчества, но тогда, по молодости лет или в суетности повседневности, мы не дали себе труда распознать эти знаки, поданные нам из дали будущего иногда с доброй, м.б., даже с несколько ироничной улыбкой, а иногда и с уродливой гримасой, предупреждающей о зле, уже готовящемся выпрыгнуть когда-то и где-то на предстоящей дороге жизни....

Студенческие сентябри в наше время, как правило, начинались с помощи колхозникам. А в Прибалтике сентябри дождливые, слякотные, так что без плащей и хорошей непромокаемой обуви на колхозных полях не обойтись.

Едва наши преподаватели успели прочитать нам, первокурсникам, по одной-две лекции, а мы - запомнить их лица, имена и названия предметов, как Зоя Софронова,

Валентина Николаевна Кухарева (по мужу Пэнь), студентка Тартуского университета 1950-х, дипломантка З.Г. Минц. В Пекине в период "культурной революции" Пэнь Баохуа был брошен в тюрьму, где девять лет провел в заключении. Валентине с четырехлетним сыном Димой удалось вернуться в родной Крым, а затем вызволить и мужа. Очерки тартуского жития "Паруса пятидесятых" мы - по рекомендации Бориса Федоровича Егорова, ученого, соратника, друга и "жизнеописателя" Ю.М. Лотмана, а в те 50-е годы заведующего кафедрой русской литературы ТУ, - напечатали в "Вышгороде" 3-4, 2004. Дружеские связи "тартуанцев" - явление особое. О чем - в новых воспоминаниях-повествованиях В.Н. (как поточнее определить жанр ее поистине художественной прозы?), которые мы получили от нее из Джанкоя ("Гуру") и от Б.Ф. - из С.-Петербурга ("Ю.М. Лотман"). - Ред.

наша староста, сообщила, что в понедельник мы едем в колхоз, что в деканат из воинской части два очень симпатичных офицера привезли сапоги, нужно идти и выбрать для себя подходящие. Пошли. У деканатского крылечка стоял грузовичок; на крылечке два офицера в рабочих комбинезонах, но в новеньких офицерских фуражках весело остряли по поводу привезенных “хрустальных башмачков”, которых должно хватить на обе ножки всем золушкам филфака; филологини в свою очередь пытались выяснить, кто из двоих - принц, а кто - нищий.

Мне же было не до острот и не до шуток - Прибалтика подвергла меня, выросшую на юге у самого синего Черного моря, жестокому испытанию - то на одном глазу, то на другом, а то и на обоих сразу у меня появлялись болючие “ячмени”, и я уже успела стать постоянной пациенткой университетской амбулатории.

Болели глаза, болела голова, но больше всего меня угнетал вид моего лица!..

В приемной деканата угол был завален горой распарованных кирзовых сапог; хохочущие девицы выбирали то, что хоть как-то могло им подойти, некоторые уже “выкаблучивались”, маршируя в солдатских бутках. Едва я вошла, как секретарь стала жестами подзывать меня к себе - слов бы я не услышала из-за взрывов и раскатов хохота.

Выяснилось, что врач внес меня в список студентов, которые по состоянию здоровья освобождались от поездки в колхоз, но должны были работать в фундаментальной университетской библиотеке, а утром посещать амбулаторию для прохождения лечебных процедур и в то же время по необходимости служить “подопытными кроликами” для старшекурсников медицинского факультета.

В фундаменталку нас привела медсестра и о каждом рассказала высокому худенькому дядечке в синем халате. Когда очередь дошла до меня, он развел руками и заговорил по-русски: “Что мне с вами делать? Вам врач не рекомендует читать, но у нас здесь библиотека, поэтому любая работа связана с чтением...” Мы стояли у длинного стола в абонементном зале, и за столом уже сидели “кролики”, перед ними лежали горки бумажной “лапши”, они смазывали каждую лапшинку клеем, который набирали палочками для мороженого из плоских тарелок, и прилепывали “лапшу” на “четвертушку” бума-

ги, бумага лежала по центру на столе аккуратными стопками.

И тут из-за стола встала и подошла к нам очень милая девушка, она обняла меня за плечи и что-то сказала дядечке, он облегченно закивал головой - работа мне была найдена. Старшекурсница отделения эстонской филологии с романтическим именем Лайне (Волна!..) взяла меня под свою опеку, включив в “коммуну” из трех человек. Вторым был студент-медик в ортопедическом ботиночке. Он встал, чтобы мы с Лайне могли занять рабочие места, а когда все сели, он взглянул на меня с доброй, но несколько покровительственно-ироничной улыбкой; позже я поняла: именно такими улыбками одаривают первокурсников исключительно второкурсники, подчеркивая свое состоявшееся старшинство (наконец-то! Хоть перед кем-то!).

Раньше, м.б., я и не заметила бы красоты глаз этого парня, но страдая от ужасного вида моих распухших красных век от бесконечных “ячменей”, теперь в первую очередь я смотрела на глаза.

Серые глаза студента-медика окружало такое обилие длинных и пушистых ресниц, что казалось, им тесно на голубоватых веках. Подумалось: голубоватость от абсолютного здоровья! Ведь ни следа покраснения!..

И такие же большие темно-серые и чистые глаза у Лайне, взгляд глубокий, мягкий и всепонимающий, но грустный.

А работали мы так: обладатель пушистых ресниц брал бумажную “лапшу”, читал на ней написанное, переворачивал текстом вниз и подвигал ко мне, иногда лапшинок было несколько, я намазывала их клеем и передвигала к Лайне, Лайне наклеивала их на четвертушку бумаги. Я так и не знаю, что же мы делали, что было написано на “лапше”, для чего предназначалась наша “продукция”, так похожая на телеграммы того времени. Странно, но спросить я почему-то не догадалась. Читать мне не приходилось, но в клее было множество червячков, маленьких и противных, их нужно было выбирать, и на столе на “огрызках” бумаги росли горки “отходов” нашего производства. Время от времени к нам подходил один из библиотечных служителей и из большой банки деревянной лопаточкой сосредоточенно шлепал на тарелки очередную порцию клея, запах от клея исходил тошнотворный.

После работы мы с Лайне бродили по Домбергу, тро-

пинки выводили к лесенкам и мостикам, случалось, мы попадали к сооружению из красного кирпича - четырехгранной тумбе, увенчанной железным шаром, заржавевшим от времени и сырости. Сооружение стояло в ложбинке, м.б., поэтому здесь всегда было как-то туманно-сыро: с деревьев капало, и по земле стелилась сероватая мгла. На разных языках, в том числе и на русском, на каждой грани читалась надпись: "Здесь покоятся кости разных народов"... дальше я почему-то никогда не читала... У основания этого скорбного сооружения, прямо на земле, всегда сидела нищая старушка, укутанная в серое одеяние. Лайне доставала кошелек, вынимала из него серебрушку и клала монету на сухую крошечную ладонь нищенки.

С отдаленного теннисного корта долетали глухие звуки ударов ракеток по мячу, возгласы судьи и играющих, но это были звуки словно бы из другого мира, из другого времени...

Утром, когда мы с Лайне идем в амбулаторию, а потом в фундаментальную библиотеку, все дорожки и тропинки скрупулезно выметены, но когда возвращаемся, все покрыто разноцветьем листьев, они влажные и не шуршат, не потрескивают, а как-то тяжело вздыхают, когда тревожишь их носком башмака; иду, опустив голову, чтобы идущим навстречу не бросались в глаза мои "ячмени"; я внимательно рассматриваю листья и сравниваю их с огромными опавшими листьями крымских тополей и платанов, впервые за эти месяцы так остро щемит сердце от тоски по дому.

С нами кто-то здоровается, я еще не умею узнавать тартуанцев по голосам, прозвучало русское "здравствуйте", а едва мы с Лайне успеваем ответить, следует вопрос, обращенный ко мне: "Товарищ Кухарева, а почему вы не в колхозе?" Никак не могу привыкнуть к обращению по фамилии, а еще и с "приставкой" - "товарищ", меня это как-то пугает, вот и тогда я ужасно растерялась, смутилась, почувствовала себя виноватой - прямо на меня очень серьезно, как мне показалось, даже изучающе-холодно, смотрели абсолютно здоровые (!) небесно-светлые глаза не просто преподавателя, а самого заведующего университетской кафедрой русской литературы - Бориса Федоровича Егорова. Холодную строгость несколько смягчала единственная деталь, со временем пойму - без нее неммыслимо представить себе портрет Бориса Федоровича - очень "своенравная"

прядь волос, придававшая лицу “главного русского” филолога нечто мальчишеское; потом, слушая лекции Б.Ф. по введению в литературоведение, я буду ловить себя на “крамольном” желании “помочь” непокорной пряди занять подобающее место в прическе, в то же время осознавая тщету и столь смелого желания, и бесполезность действия... Ведь и сегодня, через полвека (!) эта “деталь портрета” столь же упряма и своенравна, разве что из темно-русой она стала искристо-серебряной.... Б.Ф. ждал ответа, а я, готовая вот-вот расплакаться, спотыкающимся языком сбивчиво объясняю что-то про свои “ячмени”, про список из амбулатории в деканате. Б.Ф. слушает, мне же кажется, что он не верит ни единому моему слову, а считает меня прогульщицей и лентяйкой, увильнувшей от работы в колхозе, хоть мой глаз с очередным “ячменем” явно свидетельствует в мою пользу; как видно, заметил это и Б.Ф., потому что на его лице появился намек на улыбку, а голос потеплел: “Лечитесь, но все равно жаль, что вы не в колхозе”.

На том мы и расстались. Я очень расстроилась, Лайне меня успокаивала, но где там... Первая встреча, первый разговор с заведующим кафедрой, а я почти дезертирша, да еще и косноязычная... И надо же - вторая встреча и того похлеще!..

Неожиданно меня и Дину Дееву (нас пятеро первокурсниц филологинь в комнате № 1 в общежитии по ул. Юликооли, 18-а, из нашей комнаты огромная наглухо закрытая дверь в смежную комнату, в которой живут две аспирантки Кийск и Перельман; в свои комнаты мы имеем разные входы, но общая дверь обладает прекрасной звукопроницаемостью), так вот, приглашают нас с Диной Деевой на общеуниверситетское собрание по хозяйственным вопросам. Недоумеваем, удивляемся, но идем. Собрание в главном здании, полным-полна аудитория, а ведет собрание проректор по хозяйственной части сельтсимес* Адоян. Мы с Диной слушаем рассуждения комендантов общежитий, старост всяческих рангов, рисуем квадратик, кружочки и цветочки в тетрадах, которые захватили на “всякий случай” и продолжаем недоумевать: а мы-то здесь зачем?.. Чувствуем, что собрание близится к концу. Но вдруг, как гром среди ясного неба, из уст самого Адояна звучат наши фамилии, и в каком контексте! Выясняется, что мы, именно мы обе, злостные нарушительницы правил поведения в общежитии и

* *seltimeses* (эст.) - товарищ.

собрание требует объяснить, чем мы занимаемся в своей комнате № 1, что нет от нас покоя всему (!) общежитию, что нам угрожает выселение и прочие наказания. Мы встаем, я молчу, поэтому Дина начинает что-то говорить, но я ее даже не слышу, молчу и не слышу, потому что вижу - через ряд от нас сидят Борис Федорович Егоров и Юрий Михайлович Лотман!.. Боже ж мой! Их лица обращены к нам. А на лицах не злость и не осуждение, страшнее и хуже - такая горькая досада, словно бы они оба неожиданно наступили на какую-то “бляку” или увидели нечто ужасно тошнотворное, но и то и другое - это мы с Диной... И я уже представляю, как, исключенная из университета за хулиганство, возвращаюсь в свой маленький Джанкой, где практически все знают друг друга, как плачет моя бедная мама-учительница... И вдруг в мои мрачные “картинки будущего” врывается смех! Да, смеется все собрание, я вижу смеющиеся лица Б.Ф. и Ю.М., а из хора смеха в мой слух вписывается речитатив голосом Дины: “...Коакс - коакс - коакс...” Хор лягушек из знаменитой “Батрахомиомахии”! Да, мы с Диной по вечерам, возвратясь из фундаменталки или из семинарки, преобразались в лягушонка Вздломорда (Дина) и мышонка Крохобора (Я), Дина таскала меня на закорках и вопреки сюжету “Батрахомиомахии” не топила несчастного Крохобора, а таки “переправляла” - в нашем случае водружала меня на стол, и начинался гекзаметрорподобный диалог на всяческие университетские темы, доставалось и общежитию, а девицы во всю силу своих легких пели это знаменитое:

Бреке-ке-ке-ке-кекекс

Коакс-коакс-коакс

Собрание расходится, на нас бросают веселые и любопытные взгляды. Кто-то даже намурлыкивает этот знаменитый припевчик, хохочут. В нашем университете античность, да и вообще классика в великом почете, древние седины нашей обожаемой Alma mater к этому обязывают. К нам подходят Ю.М. Лотман и Б.Ф. Егоров. Из университета выходим вместе, не помню, о чем мы говорили, запомнилось только предложение Ю.М. показать нашу “Батрахомиомахию” всему отделению. И еще... очень веселый и очень дружелюбный взгляд Бориса Федоровича. Я была счастлива - меня простили и за отсутствие в колхозе и за... “хулиганство” в общежитии.

Девицы спрашивают о собрании, охотно рассказываем и, конечно, понимаем, кто конкретизировал

именно наши с Диной фамилии в официальной жалобе аспиранток по поводу “хулиганств” в комнате № 1, у нас же слишком хорошее настроение, чтобы портить его выяснением отношений, но чтобы отвести душу, разыгрываем-таки один акт “Батрахомиомахии”, заменяя благородный гекзаметр ядовитенькими частушками с псковским припевчиком. Текстов частушек, к сожалению, не помню, в памяти осталось только то, что слово “стукач” рифмовалось в какой-то частушке со словом “дыркач”, на украинском юге так называют огрызок старого стертого веника... Нахотались да и заснули.

Проснулась в том странном состоянии, какое бывало в раннем детстве: трудно разграничить сон и явь, а ведь был и такой период, когда сон и бодрствование сливались в единый поток и, проснувшись, я искала под подушкой (почему именно под подушкой?) то, что мне давали или находила, или даже крала во сне... и еще: обижалась на бабушку, если она не подтверждала наших совместных “моесонских” похождений, а начинала мне втолковывать, что пребывала она не в моем сне, а в своем собственном, что у каждого человека свой сон.

Однажды мой детский сон чуть не рассорил мою маму с ее приятельницей. Семейство маминой приятельницы имело чудесный дом с садиком, а вот с крыши дома спускалась белая цинковая труба, по которой во время дождей вода стекала в деревянную бочку, в семье жила большая кошка, звали ее Пупхен. И вот однажды утром я вскочила с постели, забежала в кухню, схватила кастрюльку с длинной ручкой (в этой кастрюльке для меня варили манную кашу) и с криком: “Бедная Пупхен! Бедная Пупхен!” побежала к дому хозяев кошки, навстречу мне с радостью выбежал сынок маминой приятельницы Эгон, мы с ним были большими друзьями, но я стала колотить его кастрюлькой, из дома выскочила бабушка Эгона, меня еле оттащили, а я плакала и приговаривала: “Он же утопил в бочке бедную Пупхен...” Я, конечно же, не помню ни своего сна, ни драки, которую учинила, я знаю об этом из многократных рассказов моих мамы и бабушки.

В дымке прошедшего помню Эгона Енера, его большую бабушку в синем платье с белым кружевным воротником (лиц не помню!) и очень ясно, словно бы видела ее вчера, зеленоглазую триколорную красавицу Пупхен... В рассказах же о моем сне и драке присутствовала и такая деталь: якобы бабушка, воскликнув: “О

майн Готт, зачем же ты это сделал, плохой мальчик?!” отвесила несчастному внуку хороший подзатыльник, но тут же радостно обалдела, увидев живую и невредимую Пупхен, которая картинно восседала на крылечке...

Возможно, именно рассказы о моем сне и явились настоящей границей между сновидениями и явью, хотя я сна и не помню, а только знаю о нем.

Сон, который я увидела в ночь после “знаменитого” собрания, помню уже полвека: выходим мы с Диной Деевой из общежития и идем к главному зданию университета, а от деканата к университету своей торопливой походкой подходит Борис Федорович, мы встречаемся, Б.Ф. как-то деловито смотрит на мои ноги, я тоже смотрю, а на мне какие-то странные драные башмаки. Б.Ф. сочувственно, но с нотой осуждения: “Что же вы так-то... негоже, негоже”... И он быстро (не вижу, как он это делает), но знаю, что он снимает сапог (именно сапог!) и протягивает его мне со словами: “Оба не могу, но этот возьмите! Берите!” И я беру сапог обеими руками, и... просыпаюсь. Просыпаюсь с удивительным ощущением в руках формы сапога. Правда, ощущение это сразу же растворяется, но остается чувство ясности и какой-то щемящей реальности увиденного во сне, а еще неизменный вопрос: к чему бы это? Только двое пытались серьезно разгадать мой сон - Дина Деева и Жанна Мордвинова, мы сидели в кафе “Сяде” (вместо лекции Л.Я. Фирсовой) и вердикт Жанны был таков: “Борис Федорович окажет тебе большую поддержку в очень дальнем путешествии. Помнишь эрмитажную голую пятку у Рембрандта?” Сказано это было так серьезно, так понятно и так смешно, но оказалось в самую точку...

Острили же и хихикали по поводу моего сна много и с удовольствием: “А впору ли сапожок-то?”, “что стоит какая-то шуба с царского плеча по сравнению с сапогом с ноги самого завкафедрой...” А я очень боялась, чтобы эти шуточки не долетели до кафедры, тем более, что Борис Федорович производил впечатление человека сдержанного и строгого, во всяком случае, на меня. Трепетать же перед ним у меня были-таки основания.

Последний экзамен за первый курс - введение в литературоведение. Лето, но утро прохладное, а еще и озноб после бессонной ночи, Борис Федорович принимает экзамен в правом крыле главного здания на втором этаже в маленькой узкой (столы и стулья всего в два ряда) аудитории, именно в этой аудитории я сдавала вступитель-

ный экзамен по немецкому языку Герде Густавовне Раади, тогда у меня даже хватило смелости изобразить на листочке трясущегося абитуриента и сделать подпись “Оставь надежду всяк сюда входящий”, а кто-то прищипил листок к двери... А вот сейчас у меня стучат зубы... Вхожу, кладу на стол матрикул, беру билет, лицо Б.Ф. мне не разглядеть - за его спиной окно... Не помню, что в билете, но билет кончается строфой из “Утопленника” А.С. Пушкина, она предложена для практического подтверждения знаний об особенностях русского стихосложения.

Мое время отвечать. Б.Ф. едва взглянул на мою схему “тире” и “галочек” с ударениями (точнее не галочек, а ехидненько улыбающихся ротиков!), и только-только я начала что-то говорить о силлабо-тоническом стихосложении, как Б.Ф. задал вопрос: “А не помните ли вы, когда впервые прочли это стихотворение?” - “Мне его прочла бабушка, когда я была совсем маленькой, а сама я его никогда не читала - я боялась этого стихотворения”... - “И теперь боитесь?” - “Да, боюсь и теперь и никогда не буду его читать”. Б.Ф. как-то поворачивает голову, свет из окна сейчас освещает лицо (я сижу у самого угла стола, т.е. по диагонали к Б.Ф.), и я вижу, что смотрит он на меня строго и изучающе: “Вы считаете это стихотворение плохим? Лучше бы Пушкин не писал его?” Я чувствую ужас попадания в лабиринт, я муха, запутавшаяся в паутине, я жалкая трусливая первокурсница, которая боится сказать то, что она думает, да, я еще не умею пользоваться труднейшим и, чего греха таить, опаснейшим из прав - свободой слова, я же знаю только одно, что все написанное Пушкиным - гениально, а я вот боюсь, ...но я же убийственно боюсь и “Итальянского каприччио” Чайковского, но абсолютно точно знаю, что произведение это - гениальнейшее. Б.Ф. ждет ответа, и я ляпаю: “Я боюсь гениев”. “Какого гения вы еще боитесь?” Это Б.Ф. спрашивает с улыбкой, почти со смехом, а я почти сквозь слезы: “Итальянского каприччио” Чайковского и картины “К ночи” Врубеля”...

Сейчас с наслаждением читаю книгу Б.Ф. “Воспоминания”* - его чудный дар мне к старому Новому году.

* Мы этот “чудный дар” Б.Ф. тоже получили: Б.Ф. Егоров. Воспоминания. Издательство “Нестор-История” СПбИИ РАН, 2004. Главки из “Далекого-близкого детства” мы с благодарностью публиковали в “Вышгороде” еще в 2003 году (№ 3 - “О полетах и сильных ощущениях”, “Мои “закрытости”; № 4 - “Еда и питье (1920-1930 годы)”; № 6 - “Сны”), а уже после выхода книги - добавленные как бы в продолжение - “Запахи” (“Вышгород” 5-6, 2005). Саму же книгу Б.Ф. Егорова, куда вошли и “Взрослые воспоминания”, мы “процитируем” не однажды и впредь. - Ред.

И как же было не вернуться памятью к “Утопленнику” Пушкина, ведь, рассказывая о своем детстве, Б.Ф. пишет: “Помню, как сильно подействовал “Утопленник”... Вот и на меня тоже... Дважды...”

Поэзия для меня всегда была таким высоким храмом, что я никогда не осмеливалась писать стихи, исключение составляли “веселые рифмочки” развлечения ради, а вот прозу писать пробовала. На втором курсе филологии проводили очередной “смотр” собственных “творческих сил” и стали уговаривать меня принять участие, я долго отказывалась, но уговорили-таки. Заседали “силы” на кафедре. Настала и моя очередь. От Аленушки, героини моего рассказа, девушки мечтательной, увлекающейся живописью и поэзией (списано было с себя!..) сбежал Иванушка - Аленушка показалась ему скучной, неинтересной. Я же видела в ней героиню весьма и весьма положительную. Собратья по перу бурно обсуждали мой опус, а Б.Ф. подвел итог: “Я бы от такой тоже сбежал!” Каково это было услышать мне, мне, которая уже тихонько начала “сотворять” из Б.Ф. своего кумира.

На своем “писательстве” я поставила точку и вообще перестала интересоваться деятельностью “творческих сил” нашего отделения, а из “писателя” стала очень увлеченным читателем. Иногда видела Бориса Федоровича в окружении старшекурсников и старшекурсниц. Они общались так непринужденно, так легко и просто, что мне хотелось зажмуриться, а иногда заплакать - им так хорошо и весело... Вот бы и мне заполучить хоть капельку такого же внимания от Б.Ф. - чай, по сну-то о сапоге было обещано, так то ж по сну... Со временем сон не забылся, а как-то “задремал” в тайничке сердца. Но было, было в моем отношении к Б.Ф. нечто, роднившее меня со смолянками, испортившими из великой любви к Константину Дм. Ушинскому его новую шляпу, “выдушив” в нее флакончик французских духов. Но у кого из нас в то время могли быть французские духи?! А у Бориса Федоровича еще не было его новой шапки из серого каракуля...

На факультете предполагались какие-то литературные гости, все готовились к грандиозному развлекательно-интеллектуальному вечеру, мы же с Верочкой Сорокиной не были “ходаками” по торжествам и танцам, но ее вдруг срочно пригласили на кафедру русской литературы по какому-то важному делу, я осталась “под часами” - традиционное место встреч и ожиданий. Едва ли

среди преподавателей и студентов Тартуского университета найдется хоть один, кто бы не слышал в свой адрес и не произносил бы сам “встретимся под часами”, “ждите меня под часами”.

Вскоре появилась Верочка, но не одна - в сопровождении Бориса Федоровича!.. Они продолжали обсуждать “срочное дело”, которое предстояло еще сделать, а сделать его нужно было в “великой тайне”. Я поняла, что оказалась, как говорится, сбоку припека, даже и совсем лишней, поэтому засобиравшись подняться в семинарскую библиотеку, но Верочка умоляюще смотрела на Бориса Федоровича, и он сказал, правда, без энтузиазма: “Что ж, пойдете с нами, тем более, вы уже становитесь опасной, так как частично знаете нашу тайну!..” Никакой тайны я еще не знала, а то, что Верочка слыла обладательницей самого красивого почерка, знали все, то же, что ей предстоит что-то писать, “выдавал” рулончик ватмана под мышкой у Бориса Федоровича, но “игра” в тайну началась, поэтому Борису Федоровичу пришлось “нагнетать” атмосферу “конспиративности” и дальше - мы шли не куда-нибудь, а на “явочную квартиру”... Я же продолжала чувствовать себя прихлебателем, *ragasitos*’ом при главном действующем лице - Верочке Сорокиной, поэтому и не принимала участия в разговоре, тем более, что был он сугубо деловым - Б.Ф. объяснял Верочке, какого размера должны быть буквы, хорошо бы тексту уместиться на двух листах ватмана, а русскую литературу расположить вперемешку с “зарубежкой”. Помню, что они еще шутливо поспорили, чем в данном случае “перемешка” отличается от “перемежки” и к какому способу нужно прибегнуть в предстоящей работе. Так мы и подошли к дому, в котором жили наши преподаватели, а что шли мы именно туда, сомнений не было. И трогательная деталь, настроившая меня на сентиментальный лад: в книге Б.Ф. “Воспоминания” (С-Петербург, 2004 г.) оказалась фотография этого дома, более того - на ней запечатлены и два окошка мансарды, а именно перед этими окошками, конечно, с внутренней стороны, стоял стол, на котором мы и закрепили лист ватмана. Мансарда входила в состав квартиры языковедов - супругов Смирновых. Снежно-белые листы бумаги (ватмана особенно!) всегда приводили меня в трепетное состояние - хотелось на них что-нибудь нарисовать. Детство пришлось на годы войны - ни бумаги, ни цветных карандашей. Мне кажется, что рисовать тогда

хотелось даже больше, чем что-нибудь съесть. Даже сегодня к бумаге у меня особое отношение, а фломастеры вижу сказочным чудом - словно бы смотрю на яркие россыпи этих сокровищ из своего так давно и так далеко ушедшего детства...

А в тот день и ватман, и цветные карандаши (целая коробка!) предназначались для трудов Верочки Сорокиной. На листы ватмана своим идеальным почерком она должна была крупно, четко и выразительно перенести вопросы литературной викторины, составленной Борисом Федоровичем Егоровым, Юрием Михайловичем Лотманом и Альбертом Юхановичем Труммалем. Эти-то вопросы, конечно, до начала вечера, и являли собой “великую тайну”.

С.В. Смирнов принес тарелку, на которой возвышалась гора бутербродов, источая колбасно-сырный аромат. Почти все наши преподаватели были убийственно молоды, их желудки еще не успели забыть, как прожорливы студенты, а и студентки тоже.

В крошечной мансарде было тепло и уютно. Верочка принялась за работу, заедая стройные ряды своей каллиграфии бутербродами. Нам было хорошо и весело, но, тем не менее, я чувствовала “томление духа” от безделья, а белизна бумаги и яркость карандашного спектра излучали такой соблазн, который и толкнул меня на самоуправство: я принялась за превращение начальных букв вопросов викторины в улыбающиеся, подмаргивающие, расцвеченные всеми цветами радуги буквицы. Это был полет вдохновения! За этим занятием и застал меня поднявшийся в мансарду Борис Федорович: “Что же вы молчали?! Да ваши буквицы - шедевр!”

Я же после столь высокой, захватывающей дух похвалы почувствовала законное право на поедание бутербродов (очень люблю с сыром, особенно с российским!), но событийность момента заключалась в другом - мы с Верочкой стали членами редколлегии нашей отделенческой газеты, коллектив которой еще только рождался. Была какая-то неудача с отделенческим альманахом, поэтому решили выпускать газету. Хотели возродить и альманах, назначались даже его редакторы Толик Лисовенко, потом Эндель Краав, помню об этом, потому что буду рисовать шарж на Энделя к эпиграмме Алика Гиршбейна, часть которой запомнилась: “тощий остов альманаха сладко спал на черепахе”. Передние ножки “моей” черепахи обуты в туфельки на высоких

изящных каблучках, а задние - в лапти с онучами. Было смешно, запомнилось же еще и потому, что по шаржу “проехали” журналисты эстонского отделения - они поменяли местами обуточки черепахе, и некий мудрец в огромном тюрбане пояснял: “А нужно так!” Я же, маленькая и хлипкая, босая и с огромной кистью, и говорю: “Ах, так, но я же не знала...” Они же мне и “имечко” придумали, учитывая мою фамилию (Кухарева) и намекая на нечто, чем я могла только гордиться, - Кухарыника. Но это еще далеко впереди...

Наша работа над викториной завершилась, мы с Верочкой спустились вниз и уже собирались уйти, как вдруг исполнителей “прекрасного манускрипта” пригласили откусать чайку у Егоровых.

Борис Федорович и чета Смирновых, прихватив свернутую в трубочку викторину, отправились на литературное торжество, а мы с Верочкой оказались в просторной, особенно после крошечной мансарды, комнате Егоровых.

Софию Александровну с маленькой Танюшей я видела и раньше и знала, что это жена и доченька Бориса Федоровича, знакомы мы не были, но это не мешало мне испытывать к ним чувство, похожее на благоговейность, поэтому в ситуации “чайной церемонии” как-то трудно было избавиться от робости. Чай был с благодарностью выпит, а вот шоколадные мишки “от Шишкина” как-то очень просто и даже естественно (в стиле студенческого правила: дают - бери!) перекочевали из вазочки в наши с Верочкой папки при ласковом напутствии Софии Александровны угостить подружек по общежитию.

Значительно позже я пойму, что именно в тот день была открыта первая страничка по преобразованию пророчеств моего сна в действительность: в добрую почву упало волшебное зернышко...

У меня нет и мысли хоть как-то умалить значение лекционно-коллоквиумно-семинарского обучения и воспитания, но каким же грандиозным “пиршеством” было внелекционное общение с нашими преподавателями!.. Это был “золотой факультатив” по “вскармливанию” интеллекта, по воспитанию чувств и человеческих отношений. Конечно, уникальным был преподавательский коллектив кафедры русской литературы. Особенно это чувствовали те, кто приходил на кафедру “со стороны”. Помню, в каком “громком восторге” от “кафедральной атмосферы” был Г.Е. Тамарченко.

Григорий Евсеевич и Анна Владимировна, супруги Тамарченко, только-только появились в нашем университете (весна 1960 года), а так как Зара Григорьевна Минц во время декретного отпуска пребывала в Ленинграде, нас, ее дипломников, официально препоручили обоим Тамарченко. Я оказалась у Григория Евсеевича, как он мне объяснил: из любви к “Алым парусам” он “отбил” меня у Анны Владимировны. Вот в беседе о Грине (творчество Грина - тема моей дипломной работы) Григорий Евсеевич и вставлял “лирические отступления” панегирического характера в адрес университета, кафедры русской литературы, ее сотрудников и города Тарту.

Совершенно удивительным было отношение на кафедре к дипломникам - принципиальная, даже жесткая строгость, требовательность непосредственно к работе и внимательно-заботливое, а иногда просто трогательное отношение к автору, т.е. дипломанту. Я возвращалась на стационар после года учебы на заочном отделении, когда мои истинные однокашники находились в предзащитном состоянии (я-то от них отстала), и у них тянулись “ночи безумные, ночи бессонные”. Верочка Сорокина трудилась над “своим” К.И. Чуковским, и надо же - бедняга сильно прихворнула: температура, горло, а еще и нарыв в носу, словом, беда да и только, а трудиться-то надо, вот и сидит она круглосуточно в ворохе бумаг и... окурков, смеяться нельзя - больно, а смеяться надо - милейший Корней Иванович Чуковский, с которым Вера состоит в “ученой переписке”, осчастливил уважаемую Веру Александровну признанием, что он горд и счастлив тем, что научная база Тартуского университета поддерживается такими кариатидами, какими являются Ю.М. Лотман и З.Г. Минц. Вот и сейчас пишу и хохочу до слез, а как же - только представить себе Юрия Михайловича в образе карийской девы?!..

Как только Верочку начинал околдовывать Морфей, я становилась в позу Кариатиды, приклеив себе под нос бумажные усы, а в роли балочного перекрытия, пардон, научной базы выступала алюминиевая кастрюля, из которой давно был съеден суп...

Морфей, угрожая наказать меня злыми бессонницами (и еще как накажет в бесконечную ночь “культурной революции”!..), удалялся, а Верочка продолжала трудиться.

Но я-то совсем о другом! Дело в том, что утром к Ве-

рочке прибежала озабоченная и суматошная Зара Григорьевна: “Вера, как вы? Может, вызвать врача? Вас тут хоть кормят? Деньги есть?” Тут же она, отмахиваясь от моего предложения снять пальто и сесть, очень как-то по-детски опиралась о стол, хватала лист за листом написанное Верой за ночь, читала очень быстро, но и очень сосредоточенно, хмыкала, что-то отвергала, отрывалась от стола, советовала Вере поспать и поесть, подышать воздухом, осуждающе смотрела на меня: “От вас, конечно, никакой помощи. Вот и Борис Федорович считает, что вы абсолютно лишены почвы под ногами. Какое легкомыслие, какая заоблачность! Сварите суп для Сорокиной, кастрюля, вижу, есть!” Боже мой! Знала бы моя обожаемая З.Г., как я использовала эту кастрюлю... И эта совершенно чудесная фраза в мой адрес: “Сварите суп для Сорокиной!..”

В своей статье к юбилеям Ю.М. Лотмана и З.Г. Минц “Юрмих и Зара” (журнал “Звезда”, 2002, № 2) Борис Федорович приводит рассказ Леннарта Мери (бывшего студента нашего университета - не нашего отделения, а впоследствии президента Эстонии) о том, как он был удивлен, когда незнакомый профессор Лотман, узнав, что молодой историк пишет дипломную работу “Декабристы в Эстонии”, предложил ему консультацию и свою картотеку. И Б.Ф. добавляет: “Для нас же это было самым обычным делом”.* Да, обычное дело, но только для необычных людей. Или вот я... даже стыдно. Уж, казалось бы, знаю же, на “что” способны мои учителя, более того - уж и пророчества моего сна сбывались не на один, а на “два сапога”, но тем не менее я была удивлена, но еще больше растрогана, когда в 1995 году получила от Бориса Федоровича ксерокопию воспоминаний Т.П. Милютиной о Екатерине Александровне Бибергаль, соратнице А. Грина по революционной работе в Севастополе (ж-л “Вышгород”, 1995, № 4), а ведь с момента защиты моей дипломной работы прошло ни много ни мало, а 35 лет!..

День защиты диплома (17 мая 1960 года), солнеч-

* У Б.Ф. в книге “Воспоминания”, из главы “У истоков тартуской школы”. “...Мы щедро приглашали курсовиков и дипломников на домашние вечерние “посиделки”, чаепития, делились богатствами домашних библиотек и картотек. Президент Эстонии Л. Мери после похорон Лотмана, на поминках вспоминал, как его поразило внимание профессора к нему, студенту, занимавшемуся темой “Декабристы в Эстонии”: Лотман пригласил его и показал свою “декабристскую” картотеку; а для нас, как и для наших питерских учителей, это не было исключительным событием...” - с. 251. - Ред.

ный, яркий, с ароматом сирени и с потрясающим открытием о том, кто же я есть на самом деле; по утверждению моего оппонента - “романтик чистой воды”. Оппонентом на защите был Борис Федорович, а уж ему то нельзя не верить. Да, вот так и живу, а что делать?..

А в тот день, конечно, была отдана дань традиции, сложившейся еще во времена славных и шумных дерптских буршей, заключалась же традиция в вечернем “продолжении защиты”, плавно переходящем в ночное, т.е. в настоящий симпозиум, а так как тартуанцы, опять же продолжая традиции дерптских буршей, славились приверженностью к строгой классике, то и “симпозиум” соответствовал своей греко-римской первозданности...

О песенной части наших симпозиумов прекрасно рассказывает Борис Федорович, тем более он постоянный участник, я же только в день собственной защиты...

После “симпозиума” мы не виделись с Борисом Федоровичем сорок лет!.. Как-то Зара Григорьевна написала мне, что Борис Федорович приезжал в Тарту, и зашел разговор обо мне. Помню дословно: “Борис Федорович очень тепло вспоминал вашу совместную работу в отделенческой газете. Я не сомневалась, что вы ему пишете, выяснилось - нет. Уж напишите, им будет индифферентно”. Но адреса Бориса Федоровича Зара Григорьевна не прислала. Его привезла мне моя приятельница по Пекину, студентка восточного факультета ЛГУ. В это время Борис Федорович уже возглавлял кафедру русской литературы в Герценовском.

И вот с середины семидесятых продолжается наш эпистолярный “многосерийный” очень ласковый роман с Софией Александровной, кстати, с весьма существенными примечаниями, комментариями, приписочками Бориса Федоровича. А какая радость получать статьи и книги с мудрыми и добрыми автографами!..

София Александровна и Борис Федорович помогли мне вынести почти непосильный груз взаимонепонимания с Баохуа... Нам с сыном стоило великого труда выволить его из концлагеря, куда он был определен на вечное поселение после 7-летнего заключения в Пекинском центре, но в мою жизнь, к сожалению, Пэнъ Баохуа так и не смог вписаться, но это уже совсем другая история. Я упомянула здесь о Баохуа с единственной целью: рассказать о совершенно удивительном случае...

Безграничным было духовное участие Софии Алек-

сандровны в моих бедах и горестях... Шла я на работу и, как обычно, купила в “своем” киоске газеты. А тогда только-только стало выходить приложение к “Комсомольской правде” - “Собеседник”. Я пролистала его, увидела репродукцию иконы Казанской Божьей Матери, только из-за репродукции я и купила этот выпуск “Собеседника”. В течение рабочего дня у меня не было времени рассмотреть икону. Но как только последняя группа кружковцев покинула кабинет, а я едва успела открыть “Собеседник” на нужной странице, вошла моя бывшая ученица, она увидела репродукцию, протянула к ней руки и сказала: “Дайте, дайте это мне, В.Н., пожалуйста...” Как видно, девушка заметила и почувствовала мои колебания: отдавать - не отдавать. Признаюсь честно - мне не хотелось расставаться с репродукцией, в ней было что-то очень притягательно-успокаивающее и... обещающее, но в слове “пожалуйста...” звучала такая мольба, конечно же, я не смогла не отдать - и отдала. Через неделю получаю бандероль от Софии Александровны, раскрываю - “художник Перов”, удивляюсь, но, еще не увидев главного, - догадываюсь... Да, София Александровна прислала мне именно эту репродукцию иконы Казанской Божьей Матери с Младенцем...

Мое “внешнее” человеческое сознание, конечно же, было в состоянии удивления и потрясения - факт-то был “из ряда вон”! Но где-то, на каком-то уровне подсознания, скорее не “под”, а “над”, не было ни удивления, ни потрясения. Говорю “над”, потому что словно бы оказалась в оболочке умиротворения, благостности, просветления... Я прекрасно помню это состояние, но у меня нет слов, чтобы объяснить его.

В 1978 году мой сын Дима поступал в университет, но я об этом не писала ни Заре Григорьевне, ни Борису Федоровичу, очень боялась, чтобы это не выглядело “намеком” на ожидание “помощи и содействия”. Дима поступил на отделение журналистики в Ростовский университет (ближайший к Крыму университет России). Но первокурсник должен был выбрать: стипендия или общежитие, а мы, к сожалению, не могли ни без того, ни без другого... И я просто написала об этом Борису Федоровичу без всяких намеков, ведь речь шла о Ростове, а не о Ленинграде. Но стараниями Бориса Федоровича Дима поселился в общежитии и получил стипендию! Нам-то и в голову не могло прийти, что для Димы могут сделать исключение как для сына политзаключенно-

го, и скорей всего, что такого исключения и не сделали бы, но ведь ходатайство исходило не от бедной мамы бедного студента, а от профессора Б.Ф. Егорова, филолога с мировым именем...

Дима учился еще в пятом или шестом классе и нагромождал для своих солдатиков пластилиновые крепости и всяческие “флешки”, на которых я скользила в нашей крохотной квартире, поэтому я тихонько разрушала “оборонительные сооружения”, выбрасывая их в мусорку, о чем и рассказала в одном из писем Борису Федоровичу. Боже мой! Я получила такой выговор с “заклинанием”: “Ни в коем случае не смейте этого делать!” Я зачитала Диме из письма Бориса Федоровича “воспитательный момент” в свой адрес.

“Вот, сын мой, что пишет мой мудрый учитель”. И Дима, тогда ведь совсем еще ребенок, сказал: “А Борис Федорович не просто мудрый учитель - он твой гуру...”

Да, устами младенца...



Из первой лекции по истории древней русской литературы в памяти сохранилось единственное слово, но сохранилось “музыкально”, т.е. так, как произнес его Юрий Михайлович Лотман - “Гороушна” (*горчичное зерно* - Б.Е.*).

Он умел произносить слова не просто акцентируя их, а как-то очень “вкусно”, “со вкусом”, словно любуясь, восторгаясь и смыслом, и звучанием. Или последнее слово в эпитафии к “Путешествию из Петербурга в Москву” - в памяти звучит весь эпитаграф голосом Ю.М., но слово “лаяй”... Ю.М. остановился и, улыбаясь в усы, взглянул на нас, как бы приглашая вместе насладиться этим словом, его великолепной грамматической формой

*Пояснение Б.Ф. Егорова, переправившего нам из Петербурга текст “Ю.М. Лотман” по электронной почте, а в дарственной надписи на книге “Воспоминаний” от 20.11.06 он удивился, “что нет еще восп. Вали Пэнь - ...”
Теперь есть! - Ред.

- “лаяй”!.. Удивительно, но звучанию слова очень соответствовал жест правой руки Ю.М., не только подчеркивавший, но и продлевавший притягательную мелодию этого бесподобного “лаяй”...

И даже те речевые нюансы, которые для другого лектора неизбежно стали бы проблемой, не только подчинялись воле Ю.М., но брали на себя определенные функции в создании особого, очень индивидуального стиля речи.

Речь Ю.М. завораживала. Я не могла слушать Лотмана, уткнувшись носом в тетрадь и скрипя пером, я должна была его видеть и слушать, следя за каждым жестом, взглядом, ожидать за знаменитыми лотманскими паузами интересного поворота мысли или какого-то “завитка”, которому улыбался и сам Ю.М.: “поелику”, “дондеже”, “яко же речеся”...

А в его удивительной голове, с шикарной истинно львиной гривой, мысли роились в таком изобилии, что им было тесно, Ю.М. торопился их высказать, чтобы дать место другим, а эти выпустить на свободу, щедро делаясь с нами своими сокровищами.

Во время лекции Ю.М. никогда не обращался к рукописи, которую клал на маленькую кафедру, стоявшую на столе, сразу же как только входил в аудиторию (49-ую). Убеждена: мы в лекциях Ю.М. слышали не то, что было написано на продолговатых листах. Он не повторялся, он продолжал работать над темой, углубляя ее, открывая новые стороны и грани; ученый работал, а нам выпало счастье находиться в потоке научной мысли, научного творчества Ю.М. Лотмана. До сегодняшнего дня помню, какое сильное впечатление произвела на меня лекция о “Житии протопопа Аввакума”. Не ошибусь, если скажу, что большую часть “Жития” Ю.М. знал наизусть. Его глубинно волновала личность Аввакума.

Не знаю, есть ли у Ю.М. работы о “Житии”, возможно, сохранились рукописи лекций, но решусь высказать мысль: то, что мы услышали тогда, - нельзя повторить ни по силе эмоций, ни по насыщенности живописи, сотворенной Словом. Я была околдована Лотманом, Аввакумом, откровением обоих о всемогуществе Слова. Кто слышал, как Ю.М. цитировал “Житие”, как он одушевлял до зримости, почти до физического ощущения сопричастности, этот трагический сгусток русской настоящести XVII века, тот не сомневается в истинности начального стиха “Евангелия от Иоанна”.

В моей тетради вместо двухчасового конспекта остался только рисунок: черненькая (голубыми чернилами!) курочка, и то, что ежедневно она приносила “робяти на пищу”, т.е. два яйца.

Мой рисунок курочки-кормилицы детишек протопопа Аввакума - оказался пророческим, вплоть до трагической судьбы самой курочки, которую “удавили по грехом”...

Пекин жил трудно и голодно: карточная система, продуктовые пайки более чем скромные. Мы с мужем работали в нефтяном институте. Пэнь Баохуа - на кафедре электротехники, я - на кафедре иностранных языков. Шло лето 1961 года, а в октябре должен был родиться наш сыночек Димочка.

И вот однажды прибегает с работы Пэнь Баохуа, именно прибегает и говорит: “Быстренько ставь на печку кастрюлю с водой!” - “А что? Зачем?” - “Институт всем беременным преподавательницам выдает по одной курице! Вот талон! Сейчас я ее принесу!”

Через полчаса он появился, но не с куриной тушкой, как я ожидала, а с живой беленькой курочкой, и тут же потянулся за ножом. Я чуть в обморок не упала! Выхватила у него курочку и прижала к себе эту “птичку одушевлену”.

Как же хорошо она прижилась в нашей квартире! Жили мы тогда на первом этаже. Окно спальни (квартира была огромная!) закрывалось только сеткой (жара стояла душающая!), и наша Галлина Альба (именно так назвала я нашу птичку - не зря же “суровый римлянин” обучал нас латыни!) целый день проводила за окном в домике, который ей из посылочных ящичков (посылки с продуктами нам из Союза присылали моя мама, Верочка Сорокина, Эви Томсон) смастерил Пэнь Баохуа, но домик был открыт, а Галинка привязана за лапку, привязь насколько ей не мешала, и ближе к вечеру она с громким кудахтаньем взлетала на внешний подоконник - просилась домой на ужин и спать. Мы открывали сетку, отвязывали от лапки шнурок и впускали Галинку домой. Чувствовала она себя полной хозяйкой! Деловито ходила по всем комнатам, склоняя голову то на один бок, то на другой, что-то склевывала с пола, а когда мы садились за стол, она ужинала вместе с нами (весь Китай ужинает в 6 часов вечера), все происходило так, как описывает это протопоп Аввакум: “А сама с нами кашку сосновую ис

котла тут же клевала, или и рыбка прилунится, и рыбку клевала”. Правда, у нас не было “сосновой каши”, но она, расхаживая по столу, клевала рис из наших пиалок. И как же деликатно она это делала! После каждого склюнутого зернышка смотрела на того, из чьей пиалки клевала. Потом я стала ставить ей персональную тарелочку, Галинка поняла и приняла это как должное. Очень любила морковно-капустные салаты. Пэнь Баохуа был потрясен, когда увидел, как после ужина она тщательно подбирает на столе все до мельчайшей крошки. “Смотри! Она понимает, что нельзя допускать Лан фэй!” На тот период это слово было очень “модным”, Лан фэй - расточительство. Китайцы же тогда экономили на всем, и за расточительство подвергали жестокой критике. Галинка была китайской курицей - понимала, что к чему. Спала она в кухне на спинке огромного тяжелого стула. И вот однажды утром под сиденьем стула на полу я обнаружила большое красивое яйцо! Баохуа был в удивлении, даже в ошеломлении! Он впервые в жизни видел великое таинство, откровение природы! Да и откуда ему, шанхайцу, а потом на пять лет москвичу, да еще сугубому технарю, было такое знать, а тем более видеть! Он задышался от удивления и восторга: “Это она сделала?! Представляешь?! Она сама сделала яйцо!” А Галинка довольно покудахтала и принялась спокойно завтракать! “Дай ей много рису! Дай ей все, что она хочет!” А днем, когда понесла ей в домик свежую водичку и салатик с рисовой добавкой, я нашла там еще одно яйцо, но только в мягкой кожице, как в мешочке. Вот и протопон Аввакум пишет: “Ни курочка, ни што чудо была: во весе год по два яичка на день давала”.

С рождения Димочки мы еще больше оценили нашу Галинку. Врач разрешил добавлять в детское питание желток, так как яйца диетические, а курица в полном смысле домашняя. И опять же, как пишет протопон Аввакум: “Сто рублей при ней плюново дело! Железо!” Разве что в нашем случае вместо “рублев” следовало сказать “юаней”, а вместо “железо” - “бумага”!

И вот мы с Димочкой уехали в отпуск к маме в Крым, а возвратившись узнали, что Галинку кто-то украл и сожрал... С грустью пишет протопон Аввакум: “Курочка у нас черненькая была, по две яичка на день приносила робяти на пицу, Божиим повелением нужде нашей помога; Бог так строил. На нарте безучи, в то время удавили по грехом. И нынега мне жаль курочки той, как на ра-

зум придет". Очень жаль! До слез... А и как не жаль. Жаль и через три века черненькую курочку, и через полвека - беленькую, обеих жаль...

А в памяти на всю жизнь поселился преданный делу и Слову ("держу до смерти яко приях"), поэтому и неумный бунтарь и трагический страдалец, но с невероятной силой духа, великолепный мастер Слова протопоп Аввакум.

Несколько лет назад видела удивительный сон (а было это время упоительного чтения только-только изданных писем Ю.М.; особый аромат чтению придавало то, что мой любимый учитель, профессор Б.Ф. Егоров, готовивший письма Ю.М. к изданию, сделал мне истинно королевский подарок - Б.Ф. подарил мне не изданный том писем Ю.М., а издательские гранки, что словно бы допускало меня ближе к "святая святых", чем остальных читателей, хоть получилось это случайно, но ведь получилось же!).

А сон был такой. Солнечный, светлый, даже какой-то искрящийся день, песчаная площадка, песок золотой, а площадка круглая, как цирковая арена, по кругу огромная толпа людей, а мы с Зарой Григорьевной в первом ряду. У меня в руках белая курица, я хорошо ощущаю упругие гладкие перья ее крыльев. В центре площадки на каком-то странном агрегате высоко восседает Урмас Отт, агрегат движется - идет съемка фильма. И Ю.М. в ослепительно белой рубашке с расстегнутым воротом, и в прекрасном настроении, он что-то объясняет, объясняет. З.Г. должна проговорить: "Добро, Петрович, ино еще побредем", но она говорит: "Ино еще побредем, Михалыч..." А Ю.М. все поправляет, но З.Г. никак не может войти в текст. Я же суюсь с курицей и говорю: "Не давите по грехом!" и несколько раз произношу именно так, Ю.М. терпеливо меня поправляет: "Не удавите! Не удавите!.." Утром просыпаюсь, вскакиваю и первым делом хватаю текст "Жития", а и точно: "Удавили по грехом...". Удавили-таки... Надо же! Даже во сне, в моем (!) сне Ю.М. говорит правильно, а я с ошибкой.

Ю.М. действительно требовал от нас, будущих филологов, культуры отношения к тексту, настойчиво и неоднократно просил различать и правильно произносить названия издательств "Academia" и "Академия", много раз подчеркивал заглавие "Повесть о горе и злочастии", но не "злосчастии".

Тихое, но очень грозное негодование вызывали у Ю.М. “незакавыченные” цитаты и отсутствие на них сносок... Мне пришлось дважды видеть Ю.М. в ужасном настроении. Я уходила на заочное отделение и, проработав несколько месяцев в одной из сельских школ Крыма, сильно соскучилась о Заре Григорьевне, поэтому еле дождалась поездки на летнюю сессию. Предвкушая встречу с З.Г., тем более она написала мне, что у них с Ю.М. появилась “некая мысль” относительно формулировки темы моей дипломной работы, я прибежала на кафедру. Зара Григорьевна заулыбалась, обняла меня и сказала, что я больше похожа на курортницу, чем на сельскую учительницу. Еще бы - солнце степного Крыма, особенно там, где уже начинается знаменитый Сиваш, тем более если пребывать в его лучах не коротких 24 дня, а месяцами, поджарит вас до полной “мулатости”. И только когда мы с З.Г. сели на “кафедральный” диван, я увидела, что за столом Бориса Федоровича Егорова сидит Юрий Михайлович Лотман, а перед ним стакан с водой и таблетки, таблетки... Перехватив мой растерянный и, конечно, встревоженный взгляд, З.Г. сказала: “Давайте-ка мы с Вами пойдем прогуляться”. Едва мы вышли в коридор, З.Г. с досадой сказала, что Ю.М. уже совсем больной из-за чтения чьих-то (не наших!) дипломных работ - как выразилась З.Г., “через строчку плагиат”, именно по этой причине они были сняты с защиты, но вот и теперь в них практически ничего не изменилось. У Ю.М. разболелась не только голова, но и зубы, длится это уже несколько дней.

Из-за своего состояния Ю.М., уезжая в Эльву, забыл оставить ключ от их городской квартиры Павлу Семеновичу Рейфману (П.С., приезжая из Ленинграда читать курс лекций в нашем университете, всегда жил у Ю.М. и З.Г.), и бедный П.С. не смог попасть в дом, ибо думал, что вот-вот кто-то появится и откроет ему дверь, так как не допускал и мысли, что все уехали на дачу, а ключ, который ему всегда оставляли, на сей раз вдруг не оставили. П.С. всю ночь провел на улице у запертого дома. И, ясное дело, сегодня утром высказал Ю.М. “огромную благодарность” за “романтическую ночь”. Я слушала З.Г. и думала: “Бедный Ю.М. Это с его-то деликатностью вынести такой тягерь вины перед П.С., бегающим всю ночь вокруг дома”. Но ведь и П.С. можно было понять, хорошо, что это было лето, лето 1958 года.

И еще... Я сейчас уже не помню, кто это был, может

быть, даже кто-то и с нашего курса, но вот и через полвека мне жутко себя представить на его месте, то есть в роли так ужасно провинившегося перед Ю.М. Конечно, провиня была не по злему умыслу, но по безалаберности быта студенческих общежитий и, ясное дело, по нерадивости виноватца. Обычно при встречах в городе ли, в университете ли, если Ю.М. после взаимных приветствий видел в глазах студента желание получить “минутку общения”, он дарил эту минутку с радостью и от всего сердца, правда, мы не злоупотребляли вниманием Ю.М., так как знали его “вечную” и “глобальную” занятость, а тут мы встретились в коридоре у окна, поздоровались, но Ю.М. не счел возможным подарить мне минутку... Он был как-то очень углублен в себя и, как я поняла, расстроен.

На кафедре, а шла я именно туда, по нашим газетным делам, узнаю, что кто-то из студентов, занимавшихся у Ю.М. творчеством Пушкина, получил от Ю.М. для работы книгу о Пушкине очень авторитетного и известного пушкиниста (Д.Д. Благого?.. не помню!..), но книга-то была подарена Ю.М. автором с сердечной и мудрой дарственной надписью. Нерадивый же студент (-ка?), заправляя свою авторучку, опрокинул целую бутылочку чернил, которые полностью (!!) залили дарственную надпись на книге, напиталась чернилами и книга, пока остолбенелый (остолбенеешь!) в ужасе от содеянного студент мысленно искал выход... Беднягу тоже можно понять (в части ужаса!) - ведь не кошмарный сон, жуткая явь - не проснешься... А что пережил Ю.М., с его трепетным отношением к подлинникам и настоящей, представить трудно... Кто-то другой после такого случая перестал бы давать книги, то есть с автографами, так то же другой...

До сегодняшнего дня с горьким сожалением вспоминаю, как практически на полуслове были прерваны два интереснейших разговора с Ю.М.

Как-то так получилось, что мы, несколько моих однокурсников, и Ю.М. очень уютно устроились у раздаточного окна нашей студенческой столовой, окно было закрыто, так как была уже ночь. Оба зала столовой находились во власти шумного свадебного веселья. Наша Наташа Ковалева вышла замуж за молоденького офицера легкой части, эта часть через несколько десятков лет (после Наташиной свадьбы!..) станет известной тем, что службу в ней будет проходить Джохар Дудаев. Но это

будет потом, а сейчас свадьба и ... грустные стихи старшекурсника (не помню ни имени, ни фамилии!), филолога, влюбленного в нашу Наташу, стихи о том, как нежную и ласковую кошечку увел кот-сибиряк, правда, не знаю, был ли счастливый офицер родом из Сибири и Наташу ли сравнивал грустный поэт с нежной кошечкой, но хорошо помню, что это был 1956 год - год столетия со дня рождения моего любимого художника Михаила Александровича Врубеля. Именно о Врубеле и шел разговор с Ю.М. Обсуждались иллюстрации к “Демону” и “Анне Карениной”, что-то говорили о “демонических глазах” ангелов в киевских росписях, кто-то и в чем-то упрекнул художника, я же позволила себе бурно встать на его защиту, и Ю.М., видимо, чтобы умирить наш пыл, задал вопрос непосредственно мне: “Очень любопытно - помните ли Вы свою первую встречу с Врубелем?” - “Помню, но я не знала, что это Врубель...” Я замялась, так как не могла решиться на пространное объяснение, но в глазах Ю.М. был такой искренний интерес и ожидание, а я все не решалась, так как знала еще с первого курса отношение Ю.М. к подлинникам, а то, что видела я, было бледненькой репродукцией, неизвестно откуда, когда и как попавшей на внутреннюю сторону крышки сундука моей бабушки, то есть моей польской бабушки, но это была Царевна-Лебедь в окружении маленьких бу-мажных наклейек с изображением Ченстоховской Божьей Матери (Маткибоски-ченстоховскиздецкем - с детства в одно слово). Маток Босок было много, а она была одна - огромноглазая и почему-то очень тревожившая мою детскую душу, я всегда очень ждала, когда же бабуля откроет свой сундук. Для Ю.М. Врубель тоже начался в детстве. Было какое-то почти мальчишеское хвастовство и во взгляде, и в улыбке, когда Ю.М. сказал: “Это была не репродукция из сундука, а настоящий Шестикрылый Серафим! Мазок к мазку подлинный Врубель в Русском Музее! Как Вам?”

И тут к нам подошел очень веселый офицер в новейшем гражданском костюме, понятно, что гость из друзей жениха, они все были в гражданских костюмах и походили друг на друга еще больше, чем в военных формах. Он поднял руку, указывая пальцем в потолок, и сказал: “А знаете ли вы, что над нами, там, на втором этаже находится настоящий камин?” - и он пошел дальше, надо думать, сообщать о своем открытии. Ю.М. тут же заметил: “А сообщение по теме: Врубель очень лю-

бил каминь!" И я, боясь, чтобы меня кто-нибудь из одноклассников не обогнал, чуть не захлебнулась словами: "И он даже строил каминь! А проект его каминь был очень высоко оценен на выставке в Париже". Каким же ласковым взглядом наградила меня Ю.М. и, приподняв плечи, развел руками: "Сражен! Сражен наповал!" Однако тут же привел название этой выставки, я долго помнила, но теперь уж забыла. А Ю.М. говорил о живом огне! Об отношении стихии огня и человека... Огонь - друг, огонь - враг, огонь - объект искусства, искусство объединяет и врага, и друга - равняет объемы изображения.

У меня захватывало дух от драгоценнейших россыпей мыслей Ю.М., и тогда я впервые в жизни услышала о саламандрах... А через много лет я прочту в стихах своего сына: "Нет, в газовых горелках Саламандры не живут..." И этот прекрасный разговор был прерван... Его прервали на фразе "А помните очаг, нарисованный очаг в каморке папы Карло?.." К Ю.М. подбежала одна из наших развеселившихся студенток и почти насильно увела его танцевать. Досаде моей не было границ... А, может быть, и к лучшему... Нужен же был и Ю.М. отдых.



Сёстрам М.К. Чюрлёниса

Лазурь и бирюза небес,
На изумруде трав - слова.
Кресты Христа наперерез -
Литва!..

Дождь одуванчиков в луче
И тихий свет едва-едва -
В янтарной мечется мечте
Литва!..

О королевне ярких снов
Поёт прозрачная листва,
Но выше всех поющих слов -
Литва!..

1978

Вильнюс

Часы молитвы - это светлые часы!..
Звучат органные высокие прелюды.
В литовском небе вспыхнули Весы,
Свет превращая в странные этюды.
Этюды грёз, страданий и страстей
На перекрёстке европейских дней.

Михаил Евсеевич Юпп (Филадельфия, США) - поэт (семь стихотворных сборников), собиратель уникальных коллекций - изданий русских поэтов-эмигрантов, почтовых открыток, старинных монет и купюр. У нас впервые опубликованы его стихотворные циклы "Эстонская музыка" и "Серебристая живопись" (Латвия): "Вышгород" 3, 2003 и 5-6, 2005. Литовские строфы также до сих пор нигде не напечатаны. Михаил Юпп до эмиграции (1980) часто бывал в Прибалтике, она присутствует и в его коллекциях.

Литва, Литва! И вновь Литва, Литва
Сквозь малахитовый этюд пейзажа!
Здесь до сих пор янтарные слова
Сражаются с опричниной отважно.
Кто только не пытался свет затмить!
Но ты, Литва, живёшь и будешь жить!..

1978

Вильнюс

Собор Святой Анны

Тянут к Светлому Богу персты
Пламенеющей готики звуки.
Распластались земные кресты
Неземной Иисусовой муки!..
Воронье всех столетий кричит,
В янтаре застывая простора.
И пронзительно воздух звенит
Колокольную бронзой Собора.
Витражами торжественных месс
Всколыхнётся душа осиянна,
Чтоб сияла над городом днесь -
Обручённая святостью Анна.
Чтобы небо в литовских краях
Янтарями молитв отражалось -
Неизменным венком на крестах,
Негасимым Иисуса COR ARDENS!..

1978

Вильнюс

Остербрамская Мадонна

*Молитесь свету, пока не поздно...
Юргис Балтрушайтис*

Серебро людского стона,
Будни, праздники, дела -
Остербрамская Мадонна
Сохранила, сберегла!..
Высшей милостью объята
Веру страждущих хранит.
И дарует благодать свято,
И божественность крепит.

Ангел Вильнюса смиренно
Соберёт янтарь людей, -
Да и вставит откровенно
В серебро свободных дней.

Сохрани Литву, Мадонна,
Зелень трав и неба синь!
В алтаре людского стона
Отзывается: - Аминь!..

Только вера души сблизит,
Только христианства свет -
В серебре любви очистит
Гиблую застойность лет.
Все сомненья, все печали
Дни Мадонны растворят.
Сколькох очи врачевали,
Сколькох вылечить хотят!..

Приходите помолиться
В сокровенный день и час.
И за всё-то вам простится,
И заступится за вас
Та, что смотрит чудотворно,
В благосклонности чиста;
Остербрамская Мадонна -
Мать литовского Христа!..

1978

Вильнюс

Всё тяжелей из мира слов
Переселяться в мир страданий,
Когда литовская любовь
Вблизи янтарных предсказаний
Льнёт к Балтрушайтиса строке
С увядшей розою в руке.

Из двух миров одна мечта
Вплетает в иллюзорность встречи:
Свет жемайтійского креста
И свет великорусской речи -
На перекрёстках этих дней
Чюрлёнисовских янтарей.

Я понимаю: всё - слова,
Любовь несёт венок страданья.
Ты мне открыла, как Литва,
Свои янтарные признанья,
Но общество влюблённых нас -
Переселило в мир гримас...

1978

Каунас

Чудо Чюрлёниса

Свеча на ветру не погасла,
Источник любви не иссяк.
Духмяные травы на прясла
Забросил литовский батрак.
Медвяные травы, как оникс,
Как оникс зелёный, блестят.
Глядит изумлённо Чюрлёнис
Сквозь эхо янтарных сонат.

Вот тёмное тело вонзилось
Змеи в хризопразы травы.
Всё музыкой преобразилось
Во славу волшебной Литвы.
Глядит он на Немана плёсы,
Но светит познаний звезда:
Российской надежды берёзы,
Германской мечты города.

А Живопись с Музыкой споря,
Астральной судьбе вопреки -
Сплетает на росстанях горя
Процветшие в сердце венки.
Чюрлёнис, Чюрлёнис, не ты ли
Галактику грёз превратил -
В картины, что мир покорили
Созвучьями дальних светил?

Чюрлёнис, Чюрлёнис, признайся,
Чьих пращуров ты превзошёл?
Чьи дальние знаки экстаза
На травах астральных прочёл?
Российская мудрость печали,
Германских прозрений поток,
Палитру и Гамму сплетали
В янтарный литовский венок.

Но бюргерской братии вирус
И тьма непризнанья вокруг
Заставили чопорный Вильнюс
На гордый сменить Петербург.
И в близкой по духу России
Литовским цветком прорасти,
Чтоб зры земного бессилья
Галактикой грёз превзойти.

В симфониях Звука и Цвета,
Санскритская песнь тетивы.
Сияньем астрального света
Пронизан мыслитель Литвы.
Медвяные травы, как оникс,
Как оникс зелёный, блестят.
Есть чудо, и это - Чюрлёнис
В созвездье Картин и Сонат.

1978

Каунас



В 1978 году был я приглашен на встречу Нового года одним литовским коллекционером картин - моим стародавним другом. Именно в этот приезд он обещал познакомить меня с сестрами крупнейшего литовского художника Микалоюса Константинаса Чюрлёниса. Моей поездкой воспользовался другой мой друг, ленинградский коллекционер, попросив уточнить подлинность недавно приобретенной им картины.

Картина, о которой шла речь, отдаленно напоминала манеру Чюрлёниса, хотя авторской подписи не было.

После встречи Нового года мой литовский друг, как и обещал, познакомил меня с одной из сестер Чюрлёниса, проживающей в Вильносе. Ядвига Чюрлёните, посмотрев картину, сказала:

- Очень похоже на Кастукаса, но я - музыковед и занимаюсь музыкальным наследием своего брата. Вот моя сестра Валерия Чюрлёните-Каружене - искусствовед. Она вам с точностью сможет определить подлинность этой работы. Я сейчас напишу записочку, а вы поезжайте в Каунас, там Валерия работает руководителем музея Чюрлёниса.

- Простите, вы назвали имя Кастукас, так звали Чюрлёниса до машины?

- Да, да, - отвечала Ядвига Чюрлёните. - А почему вы?..

Я представился. Рассказал, что работаю в одном из ленинградских музеев и давно интересуюсь творчеством Чюрлёниса.

- Скажите, а вы читали мою книгу воспоминаний? Правда, мне говорили, что купить ее очень трудно. Она вышла в 1975 году в Вильносе, в издательстве "Вага". Сейчас интерес к Чюрлёнису так велик, что тираж в 75 тысяч экземпляров оказался недостаточным...

Я воспользовался паузой, и стал медленно разглядывать комнату. Меня поразила скромность убранства. У стены стоял небольшой письменный стол, заваленный книгами, нотами, журналами, письмами. По маркам на конвертах я определил, что многие письма из-за границы. Над письменным столом висела небольшая работа Чюрлёниса. Рядом стояло пианино. Две другие стены были уставлены стеллажами. И там, как и на столе, располагались книги, ноты, альбомы. Ядвига Чюрлёните жила в недавно выстроенном новом доме...

Уходил я со смешанным чувством горя и радости, бережно унося записочку, написанную прыгающими буквами.

И становилось грустно оттого, что эта замечательная женщина живет в новом для нее мире грезами воспоминаний, музыкой, книгами. Только через год после поездки в Литву мне удалось купить ее книгу.

А на другой день я уже был в Каунасе. Валерия Чюрлёните-Каружене оказалась женщиной разносторонних талантов. В молодости она много училась. Вначале в Вильнюсе, затем на Петербургских педагогических курсах. В 1915 году, эвакуировавшись в Москву, посещала художественные студии Юона и Дудина и университет Шанявского. В двадцатых годах училась в Берлине в художественной студии Орлика, затем в Цюрихском университете посещала факультет истории искусств. Она вела обширную переписку со всеми музейными работниками страны. Знания ее были так велики, что друзья ласково называли ее "нашей ходячей энциклопедией". Ей достаточно было бросить один взгляд на картину, чтобы определить ее подлинность. О картине, которую я привез, по каким-то только ей свойственным неуловимым деталям она уверенно заявила:

- Нет, нет, молодой человек, это не Чюрлёнис. Посмотрите, ведь на этой картине черт знает что наворочено. Тут помимо пастели имеются мазки масляными красками. А вот здесь явно выпирают цинковые белила. И потом взгляните, как это произведение густо покрыто лаком. Нет, нет, Кастукас очень редко пользовался смешанной техникой. Давайте пройдем с вами по музею. Вы ведь впервые в наших краях?

Музей Микалоюса Чюрлёниса находится на широкой площади. Неподалеку от него возвышается колокольня. В праздники и по воскресным дням талантливые звонари исполняют на колоколах литовскую народную музыку и сложные симфонические произведения. Строгость интерьера музея как бы подчеркивает своеобразное живописное видение Чюрлёниса. Каждая из картин расположена на уровне человеческого роста. Экспозиция воспринимается ненавязчиво, раскрывая суть художника. И конечно же, зрительное восприятие сопровождают звуки неповторимой музыки Чюрлёниса-композитора. Человек, впервые попавший в этот музей, из зрителя и слушателя превращается в соучастника удивительных таинств переплетения живописи и музыки. И когда я зачарованно и подолгу останавливался у каждой картины, Валерия Чюрлёните-Каружене рассказывала:

- Мой брат был очень любознательным человеком. Он интересо-

вался буквально всем. Чюрленис прекрасно разбирался не только в музыке и живописи, но и в литературе, математике, палеонтологии, социологии, минералогии, этике, хорошо знал мифы древних цивилизаций. Он помнил на память даты правлений всех королей, включая даже китайских императоров, он досконально изучил геологические периоды и состав земной коры, он изучил такие древние языки, как халдейский, вавилонский, финикийский, санскрит, гебрайский. Любимыми писателями его были По, Ибсен, Мицкевич, Достоевский, Норвид, Фламмарнон, Тагор, Словацкий. Ему не импонировала поза сатанизма моднейшего в те годы писателя С. Пшибышевского. Моего брата привлекали такие науки, как психология, астрономия, космология, а наиболее близкими по духу были древнеиндийская и немецкая философия. Все это определенным образом формировало мировоззрение Чюрлениса. Он был человеком принципиальных и благородных идеалов. Он не выносил демагогии и ханжества. И как видите, все это воплощалось в живописи. Символика передачи внутреннего видения, как и синтез знаний, запечатлевались ожившим звуком. Преломления творческих граней выявляли только присущую Чюрленису гармонию.

- Писал ли ваш брат стихи?

- Вы знаете, он всегда был очень скрытным. Я была еще маленькой девочкой, и помнится мне, что однажды, забравшись в комнату Кастукаса, обнаружила какие-то записи. Я начала читать их, и это оказались стихи. В это время вернулся брат и, увидев меня за чтением его рукописей, не удивился, а только пожурил слегка, приговаривая:

- Вот подрастешь немного, тогда я и сам тебе прочту и объясню все, что я тут написал. А сейчас тебе еще рано об этом читать.

В нашей большой семье, как вы знаете, Кастукас был старшим. А по литовским традициям старшие братья и сестры должны опекать и наставлять младших. И когда во мне, как говорится, стали прорезываться таланты, он настоятельно советовал родителям дать мне художественное образование. Да, да, все, что я ныне имею и люблю, я получила в наследство от брата. Он был первым моим учителем и другом. Это именно он привил мне любовь к живописи. Всегда помня о тех первых шагах в искусстве, я и своим детям постаралась передать любовь к живописи, литературе, музыке. Моя дочь Дануте Балткене стала поэтессой. В этом я вижу непрерываемую нить художественных устоев нашего рода.

Литва и Чюрленис с тех пор для меня - одно понятие, одна боль и радость.

1982

В сокращении - по старой публикации журнала "Новое Русское Слово" (Нью-Йорк, 5 июня 1983). - Ред.



**НАД
ВСЕМИ
ДОВЛЕЛА
СТРАШНАЯ КЛЯТВА**



Еще в детстве я слышал от родных разные намеки и догадывался, что они скрывают от меня какую-то тайну. И только взрослым мне обо всем довелось узнать.

История эта началась накануне Страстной Седмицы 1918 года в Сергиевом Посаде, когда в дом к моему деду - отцу Павлу Флоренскому - постучалась соседка. Женщина только что услышала телефонный разговор своего зятя-комиссара с Москвой. Речь шла о готовящемся на Пасху глумлении над мощами преподобного Сергия. Мой дед в то время был членом Комиссии по охране памятников истории и старины Троице-Сергиевой лавры и к тому же священником, то есть ему можно было рассказать без опаски в уверенности, что тайна исповеди сохранится. Отец Павел отреагировал не так, как эта женщина ожидала. Впоследствии она пересказала все местному учителю Волкову и очень возмущалась. Что ответил ей Флоренский? Сказал, что ничего страшного, надо смириться,

Флоренский Павел Васильевич (1936). Доктор геолого-минералогических наук. Профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Академик РАЕН, Международной славянской академии наук и Академии наук Республики Абхазия. Член Союза писателей России. Внук философа Павла Александровича Флоренского, репрессированного, отправленного на Соловки и в декабре 1937 года расстрелянного. - Павел Васильевич выступал на конференции, посвященной 80-летию журнала "Вестник РХД" (Москва, Библиотека-фонд "Русское Зарубежье", 7.12.2005). И тогда же подарил для "Вышгорода" московскую газету "Трибуна" (№ 132, 27.07.2005) с записью своего рассказа об одной семейной тайне и разрешил снова воссоздать его. А интереснейший доклад Павла Васильевича о своем деде - о Павле Флоренском - оказался блестящей импровизацией и, к сожалению, по этой причине пока невоспроизведенной. - Прим. ред.

молиться, Господь не попустит... Она не знала, что сразу же после этого разговора отец Павел поспешил на соседнюю с Дворянской улицу, где жил граф Олсуфьев, его друг. Вместе они пошли в Лавру, в келью настоятеля архимандрита Кронида, в будущем прославленного как новомученика.

Быстро собралось тайное совещание. Пришли члены Комиссии по охране памятников - несколько человек. После совещания они вошли в Троицкий собор и, помолвившись, отделили Честную Главу от мощей преподобного, схоронив ее в ризнице. На место же ее возложили главу князя Трубецкого, погребенного в Лавре. Все участники этого страшного действия дали обет никому ни при каких обстоятельствах не рассказывать, где спрятана святыня.

На Пасху комиссары и безбожники устроили шабаш в Сергиевом Посаде с разоблачением чудес. Рака с мощами была выставлена на всеобщее обозрение. Хулителям казалось, что подобное действие должно навсегда убить в посадцах веру в святыни и чудеса. На этом беснование не закончилось, через год, 20 апреля 1920 года, Троице-Сергиева лавра была закрыта.

Все это время Глава преподобного, убереженная от надругательства, секретно хранилась в ризнице вплоть до закрытия Лавры. В 1920 году Ю.А. Олсуфьев, поместив ее в дубовый ковчег, перенес в свой дом на улице Вальной в Посаде, ставшем Загорском. В 1928 году закрутилось "сергиево-посадское дело", пошли массовые аресты "бывших" - всего 70 человек. Чтобы переждать это время, ковчег со святыней закопали в саду дома Олсуфьевых, и никто из причастных к тайне не выдал ее на допросах. В те годы существовал еще Политический Красный Крест. И его доброму гению Е.П. Пешковой удалось сберечь жизнь многим посадцам, в том числе графу Олсуфьеву, которому, однако, пришлось скрыться в Нижнем Новгороде.

В начале 30-х годов накатилась новая волна арестов. В 1933 году был арестован П.А. Флоренский. В посадскую тайну посвятили Павла Александровича Голубцова, ставшего позже архиепископом Новгородским и Старорусским. Кстати, я хорошо его знал, он был моим духовником. Впоследствии по его оговоркам я стал догадываться, что он хранит какую-то тайну. Лишь незадолго до смерти, уже будучи епископом Новгородским и Старорусским, владыкой Сергием, он кратко поведал эту историю...

Итак, Голубцов тайно перенес ковчег со святыней из олсуфьевского сада и сокрыл его в окрестностях Николю-Угрешского монастыря под Люберцами. “Когда я ее нес, она казалась мне необыкновенно тяжелой”, - рассказывал он своему однокурснику по семинарии - будущему митрополиту Питириму (Нечаеву)...

Потом была война. Голубцова забрали сразу же, в 1941-м. Чудесным образом попал он в санитары - не стрелял, не убивал и мог потом свободно стать священником. А главное - остался жив. Может, для того Господь его и сохранил, чтобы, вернувшись с фронта, он отнес Главу преподобного в другое, более надежное место - к Екатерине Павловне Васильчиковой, дворянке по происхождению.

Екатерина Васильчикова также проходила по “сергиево-посадскому делу”. Девушка уже тогда догадывалась о тайне, связавшей ее родных и друзей. На допросах она держалась независимо и достойно. Взяли ее за “голубую кровь”. Как же - в родстве с самим Иваном Грозным, Рюриковна... С помощью той же Пешковой Кате Васильчиковой удалось избежать лагерей.

Теперь святыня хранилась у нее - в дубовом ларце, на котором всегда стоял цветок. Сын ее рассказывал мне, что атмосфера в комнате была особенной, теплой... Впрочем, Васильчиков не хотел много рассказывать. Над всеми довлела страшная клятва, которой связали себя участники спасения мощей. Когда мы пришли к Екатерине Павловне и стали расспрашивать про святыню, она была в ужасе, вскочила:

- Откуда вы знаете?! Кто вам сказал?! - чуть ли не кричала на меня: - Этого никто не должен знать!

В 1946 году, когда власти открыли Троице-Сергиеву лавру для верующих, Васильчикова пошла к Святейшему Патриарху Алексию (Симанскому) и все рассказала. Таким образом сохраненная Глава преподобного была возвращена к мощам.

Кажется, все завершилось обыденно и просто. Однако есть еще одно обстоятельство, которое доказывает промыслительность этой истории. Дело в том, что в старости преподобный Сергей страдал болезнью костей, так что верхний его позвонок прирос к основанию черепа. И чтобы отделить от мощей Честную Главу, отцу Павлу Флоренскому и его сподвижникам пришлось использовать церковное копьцо, которым из просфоры вырезается частица для Пресуществления хлеба в Тело Христово. И вот это копьцо оставило на Главе отметину, по кото-

рой позже можно было удостовериться, что она та самая, настоящая. Думается, это вовсе не случайность. Так что лишь на первый взгляд в этой истории нет ничего сверхъестественного. Ведь чудо Божие в людях совершается.

Должен признаться, что я, будучи председателем Комиссии по чудесам Московской Патриархии, лишь дважды встретился с явлением, которое отношу к полному чуду. Дело было в музее Андрея Рублева. Передавали икону в один из московских монастырей. Прибыли ее принимать иереи. Они облачились, приготовились. Приносят музейщики икону - Богородицу, нарисованную на доске. Священники начинают пред ней служить. И видят - икона оживает на глазах. Потом ее взяли и благоговейно понесли. А я отстал. И вдруг на меня дохнуло чем-то. Благовония там не употребляли, это не было ароматом кадила и масел. Это было нечто иное.

Еще раз я ощущал этот запах, когда скончалась моя бабушка - Анна Михайловна, вдова священника Павла Флоренского. Много было внуков и детей возле нее. Она при нас уходила. Я держал ее за руку. И вот когда она умерла, через некоторое время в комнате стал ощущаться удивительный аромат. Потом я говорил об этом архиепископу Сергию Голубцову. Он мне ответил очень резко:

- Да бросьте, не может этого быть! От людей так не пахнет!

А через некоторое время говорит:

- Павел Васильевич, а я был неправ. Я с просвещенными старцами говорил, и они мне сказали: это был аромат из другого мира. Значит, в комнате был кто-то другой...

А вообще бабушка - конечно, самый любимый человек в нашей семье. Она была добрая и очень умная. Сохранила нашу семью как единое целое. Она сохранила дом деда в Сергиевом Посаде, все его рукописи, переписку с Булгаковым, Розановым, Вернадским, письма к жене и детям...

В своем письме-завещании дед завещал всем нам жить в дружбе и не продавать дом ни при каких обстоятельствах, если нет крайней на то нужды. Он завещал нам оставаться верными чадами Православной Церкви и в каждом колене нашего рода иметь священника. Сейчас этот завет деда исполняет мой двоюродный брат - игумен Троице-Сергиевой лавры Андроник (Трубачев). А еще отец Павел Флоренский завещал нам внимательно изучать своих предков.

Характерно, что в нашем роду нет больших начальников и военных. Зато много ученых, исследователей, путешественников и естествоиспытателей, в последнее время появились художники. Я как-то подсчитал: у нас по разным семейным линиям приходится 30 горных инженеров и геофизиков. Одним из самых ярких представителей ученого мира среди Флоренских был родной брат моего отца, последний ученик и лаборант Вернадского - Кирилл Павлович Флоренский, лунный геолог, планетолог. На Луне есть кратер его имени рядом с кратером Вернадского - ученик рядом с учителем. А еще он устанавливал точное место Куликовской битвы, руководил экспедицией к Тунгусскому метеориту.

Всего же у моего деда было пятеро детей (из них сейчас жива только младшая дочь - Мария Павловна). Ныне, слава Богу, здравствуют его 12 внуков и 24 правнука. Следующее поколение я не считаю - оно в процессе производства. А еще для нашего рода характерно то обстоятельство, что среди Флоренских не было и нет ни одного революционера, демократа и либерала. Все мы по своим убеждениям - государственники. Что же касается самого Павла Александровича Флоренского, то он был убежденным монархистом.

Самое существенное в своей жизни - хотя и только в науке - сам Флоренский перечислил в письме к сыну Кириллу с Соловков от 13 мая 1937 года. Вот фрагмент этого письма:

“...От меня всегда уходит то, над чем я работал, в чем достиг результатов и на подготовку к чему затратил много труда. Мысленно просматривая свою жизнь (пора подводить итоги), усматриваю ряд областей и вопросов, которые начал я и которыми потом занялись “все” (чтобы не прочел все), т.е. очень многие, мне же либо пришлось оставить дело, либо сам оставил, т.к. противно заниматься вопросами, к которым лезут со всех сторон и захватывают. Тебе м.б. будет интересен список важнейших.

В математике: 1. Матем. понятия как конституитивные элементы философии (прерывность, функции и пр.). 2. Теория множеств и теория функций действ. переменного. 3. Геометрические мнимости. 4. Индивидуальность чисел (число - форма). 5. Изучение кривых *in concreto*. 6. Методика изучения формы.

В философии и истории философии: 1. Культовые корни начатков философии. 2. Культовая и художественная основа категорий. 3. Антиномии рассудка. 4. Историко-филолого-лингвистическое изучение терминологии.

5. Материальные основы антропологии. 6. Реальность пространства и времени.

В искусствоведении: 1. Методика описания и датировки предметов древнерусского искусства (резьба, ювелирн. изделия, живопись). 2. Пространственность в худ. произведениях, особ. изобразит. искусства.

В электротехнике: 1. Изучение эл. полей. 2. Методика изучения электрич. материалов - основание электроматериаловедения. 3. Значение структур электроматериалов. 4. Пропаганда синтетических смол. 5. Использование различных отходов для пластмасс. 6. Пропаганда и разработка элементов воздушной деполяризации. 7. Классификации и стандартизация материалов, элементов и пр. 8. Изучение углистых минералов как одной группы. 9. Изучение ряда пород горных. 10. Систематич. изучение слюды и открытие ее структуры. 11. Изучение почв и грунтов. И т.д.”

Но лично я убежден, что главным деянием моего деда было сохранение для России и всего православного мира Главы преподобного Сергия. Это определило всю его дальнейшую жизнь и, полагаю, вечную жизнь. Он совершил подвиг, за что и получил свое. Когда мы, его грешные потомки, хлопотали о реабилитации деда, мы заботились, конечно, не о его репутации, а о своих собственных интересах - нам трудно было жить потомками “врага народа”.

О реабилитации Павла Флоренского, как и всех репрессированных священников, говорить не следует. Они противостояли большевизму и получили свою пулю. Ведь каждый из них мог отречься и надеяться, что тогда не расстреляют. Но они не отрекались ни от Бога, ни от сана, ни от монархических убеждений. Они были виноваты перед властью и получили свое, как получили свое первохристиане, которых уничтожал римский император Нерон.

“Жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал Родину, хотя то были Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. И сам он, и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее преступление” - так писал русский философ, священник Сергей Булгаков, узнав в Париже о смерти друга. Вот посему-то я считаю, что труды моего деда “Столп и утверждение истины”, его исследование о Премудрости Божией, которая, как он писал, пронизывает собой весь космос, - это как бы подготовка к тому поистине космическому деянию, которое совершили он и его сподвижники в Сергиевом Посаде.

ОРО - о роде продолжающемся...

“Люди, которые знали Флоренского, рассказывали мне, что можно было получить от него обстоятельный ответ практически на любой вопрос в самых различных областях гуманитарных и технических наук”.

Одна из публичных лекций о. Александра Меня, прочитанных за год до его убийства, в 1989-м, посвящена Павлу Александровичу Флоренскому. Она стала первопубликацией в нашем журнале (по расшифровке с кассеты) более десяти лет назад: “Вышгород” 1-2,95 - “Жизнь есть творчество”. Это слово о философе, но одновременно “фигуре особой”, разносторонней. “Человек, которого уважал и ценил Вернадский. Они шли в одном русле научных исследований”. А еще - инженер? - историк? - поэт? Священник, профессор, редактор...

Из лекции А.М. Личное.

“Арестованный в 33-м году, он исчез, и родные (жена и дети) не знали, где он и что с ним, очень долго не знали, поскольку в 37-м его лишили права переписки. Помню, мы с матерью идем по Загорску во время войны, она здороваается с женой Флоренского и говорит: “Вот эта женщина несет огромный крест”. И объяснила мне, что Анна Михайловна не знает, что с ее мужем (отец мой в это время только что освобожден из заключения, и я, хотя и был достаточно юн, понимал, что это значит). А на самом деле Флоренского уже не было в живых”.

В марте 2003 года в Москве, в “Иностранке” (Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы - ВГБИЛ), в Овальном зале, посвященном так о. Александром Менем (о чем всегда, почти ритуально, напоминает ген. директор Екатерина Гениева), в этом зале, где видимо-невидимо болезненно острых углов, - состоялась презентация книги Юрия Бродского “Соловки. Двадцать лет Особого Назначения”. Одновременно - по договоренности с издательством РОССПЭН - мы выпустили “соловецкий” номер с главами из этого фолианта-памятника и нашим, эстонским, приложением. В номере есть поэтический цикл Нила Нерлина “Апология свящ. Павла Флоренского” (“Вышгород” 6, 2002). Тогда, после своего выступления, один номер спецвыпуска “Вышгорода” я и подарила Павлу Васильевичу Флоренскому, внуку, собравшему бес-

ценные материалы и письма своего бессмертного деда...

А вскоре мы получили из Москвы бандероль с редчайшим изданием (тираж всего 3000 экз.): *“Павел Флоренский. ОРО. Лирическая поэма. Забайкалье 1934. Соловки 1934-1937”* (Paideia, Москва 1998).

Из аннотации: *“Поэма “Оро” - последнее произведение священника Павла Флоренского (1882-1937), созданное им в заключении в Забайкалье и на Соловках. В этой форме автор стремился передать детям опыт рода Флоренских и посвятил поэму младшему сыну Мику”*. (Михаил, фронтовик, геолог-исследователь, трагически погиб на Камчатке в 1961 году при переправе через реку Паужетку.)

Составление, композиция, общая художественная концепция, оформление книги, в которую включены письма жены и детей Флоренского и его ответы им с каторги, а также детские рисунки пяти поколений этого рода, - принадлежит П.В. Флоренскому (совместно с А.И. Олексенко), сыну Василия.

Из письма Павла Александровича с Соловков жене: 1935. VI. 2.

“Помню, раз водил вечером гулять Васю. Идем вдоль забора к Вифании и вдруг меня пронзило ощущение, что я - не я, а мой отец, а Вася - это я и что повторяется, как папа меня водил. Всех вас чувствую в себе, как часть себя и не могу смотреть на вас со стороны...”

Дорогая Аннуля, прошлое не прошло, а сохраняется и пребывает вечно, но мы его забываем и отходим от него, а потом, при обстоятельствах, оно снова открывается, как вечное настоящее”.

И о поэме своей в предисловии писал, что она станет понятна сыну - читай, сыновьям, людям! - только со временем, так как в ней масса “многочисленных намеков”. Да, в ней зашифрованы поэтические и смысл древних преданий вымирающего северного племени ороchon (оленеводов), и символ сохраняющей жизненный опыт суровой, но питающей силами мерзлоты. “Мерзлота - это эллинство”. Прошлое - “как вечное настоящее”?

Все сыновья о. Павла Флоренского - и старший Василий, и Кирилл, и Михаил - стали учеными, геологами. Павел, сын Василия, - тоже. Со студенческих лет и в экспедициях участвовал, и быт малых народов изучал; об этом в книге его очерк “Дальний Восток ороchонов и Флоренских”.

Строки поэмы “Оро” - “Жизнь рода, смысл, по-

рыв и честь - / В великой цели - чтоб процветать” - пропустили сквозь “мерзлоту” и “пожары” XX века, как вечное в настоящем XXI веке. Как неизбывная память.

Имя Флоренского среди тех, кто навещал в Бухаре в 70-е годы прошедшего лагеря ссыльного археолога Сергея Николаевича Юренева, реального персонажа романа Б.Ю. Крячко “Сцены из античной жизни”. “Приезжал Павел Васильевич Флоренский, профессор и внук прославленного автора “Столпа” и “Обратной перспективы”, а с ним орава студентов-нефтяников” (Борис Крячко. Избранная проза. Таллинн 2000, с. 91).

А осенью 76-го в письме из Таллинна в Москву Б.К. сообщает: “Зашел ко мне мой давнишний приятель еще по салону Серг. Николаевича в Бухаре - Паша Флоренский... Сейчас он едет на Сааремаа в н/командировку...”

Своим беглым сверхскорым почерком Павел Васильевич, подписывая нам книгу, сообщил: “На днях я послал расстрельные соловецкие списки (2000 человек) Хейно Альфредовичу Якомяги в Таллин...” А на титульном листе нарисовал оленя и человека у костра...

Л.Г.

МАРИНА
КУЧИНСКАЯ
ЧЁРНЫЕ
ПАРУСА



Маргарите Павловой

Теперь о Греции

Теперь о Греции - поскольку я не там
и берег вулканической породы -
уже рассказ, и пауза словам
дарована, как узнику свобода,
и не песок к изнеженным стопам,
а к стопам звук льнёт, впечатленьям вторя...
я парус чёрный вижу, как Эгей,
пока ещё над безмянным морем.

Здесь жили греки

(на развалинах древнего Камироса)

Здесь жили греки. Больше не живут.
Храм Аполлона. Рынок. Бани. Пруд.
Алтарь. Остовы мраморных колонн.
Ступени. Раскалённый солнцем склон.
Под сенью древа пряный холодок
чело ласкает. Ветер дует с моря.
Сандалии, на голове - венки,
из амфоры - вино. Почти героем
кажусь себе, но слог мой так пуглив,
что не течёт гекзаметром старинным.
Поодаль, взгляд свой в вечность устремив,
две ящерицы дремлют на руинах.

*Марина Кучинская однажды, в 1997-м, прислала нам стихи из Финляндии и стала нашим постоянным автором. Она - родом из Москвы, какое-то время жила во Франции, с 1995 - в Эспо. Основная профессия, кажется, к лирике отношения не имеет. Поэзия - призвание. В 2004 первый сборник стихов: *Notinis Umbra* - Тень имени (С.-Петербург, изд-во Сергея Ходова).*

Почти Ван-Гог

Почти Ван-Гог - в тени большой оливы
спит мирно грек, не древний, но ленивый,
желта трава, и синева безмолвна,
за поворотом - море, камни, волны,
приземистых монастырей белок,
таверны с хвойным привкусом ретцины,
и вечного покоя эпилог -
на берегу обрывки парусины.

С обрыва - в мир (замок Монолитос)

С обрыва - в мир! -
шагнуть! - и не вернуться!
Ни крепости, ни сердца монолит
не выручит! Ведь боги тоже бьются!
Неважно - как. Пока в груди болит.

Платаны и лавры (греческий стадион)

Платаны и лавры! Вы явно моложе
античных развалин! - вот знатное ложе,
руины рядов, очертанья арены.
Не хуже, чем вечность, сулит перемены
секундная стрелка, и горстка камней
становится пылью, и я вместе с ней.

Медовой Эллады зной (Родос)

Медовой Эллады зной. Цикад-невидимок грай.
Влюблённый в богиню бог назвал этот дикий край.
Но как примирить любовь со смертью? - Смотри, Тезей,
как жалок порой герой и вечен покой морей!
Елены Прекрасной прах. Безвестной гречанки гроб.
Мерцает под вечер свет в часовенках у дорог.
И то ли душа - жива, и то ли ты сам - живой:
стоишь, позабыв слова, над миром, как часовой.

Оливы ветка, ветвь платана

Оливы ветка, ветвь платана, обломки мрамора и чаш -
дары богов перебираю. Ищу себя среди пропаж.
А север, тучи нагоняя, всё погребает под собой:
песка и моря переливы, и белоснежно-голубой
Эллады свет, и горизонта дымящегося тишь да даль,
и парусов, возможно, чёрных, возможно, белых, но печаль.

2004



РЕЙН
ВЕЙДЕМАНН

БОЛЬШОЕ
КОЛЬЦО
БАЛТИЙСКОГО
МОРЯ



- **Г**осподин Вейдемани, в Хельсинкском университете, где Вы часто выступаете как профессор Тартуского и Таллиннского университетов и как писатель, - не так давно Вы читали лекцию о трех соседних литературах - Эстонии, Литвы и Латвии. В общем-то Финляндия и Эстония - тоже родственные души. Но почему такой выбор? И почему именно финские коллеги заинтересовались темой трех этих литератур?

- Сразу подчеркну - в последние годы Финляндия воспринимает наши Балтийские страны как целое. Речь идет о большом кольце Балтийского моря, куда входят с севера Финляндия, Дания и Швеция, с востока - Эстония, Латвия, Литва, с юга - Польша и северная Германия... Такая совокупность - региональная: не только культурная, но и экономическая совокупность, или, как называют финны, "Северная дименсия", то есть северное измерение. И поэтому Финляндия заинтересована в тесных региональных контактах именно в этом пространстве. Мы же знаем, что в Евросоюзе имеется как бы свой центр стран Средиземного моря. И вообще, наверное, в будущем Евросоюз - больше союз регионов, чем союз разных государств и народностей. В этом плане Балтийские страны имеют важное значение. Но, к сожалению, культурные связи между Эстонией, Латвией и Литвой в последнее время, по-моему, не играют той главной роли, которую должны сыграть.

Рейн Вейдемани - писатель, публицист, профессор Тартуского и Таллиннского университетов, постоянный автор и член редакционного совета журнала "Вышгород".

Однако вспомним хотя бы о том, что первое поколение латышской интеллигенции получило образование в Тартуском университете. А через Литву в Эстонии уже в XVII веке польские иезуиты довольно интенсивно вели просветительскую работу и основывали здесь первые школы. Но и не так давно тесные связи между Балтийскими странами существовали в Советском Союзе, особенно в 80-е годы, когда создавался Народный Фронт. В Литве - Саюдис, Таутас Фронта в Латвии и Rahvarinne в Эстонии. Это самая яркая эпоха содружества тогда еще балтийских республик... Правда, в развитии наших литератур, пожалуй, заложены довольно разные тенденции. Литовский эпический роман, их поэты-модернисты, например, Эдуардас Межелайтис... Известные имена и для эстонского читателя, в свое время у нас много переводилось литовской литературы. Не говоря уже о латышских классиках, начиная с Яниса Райниса и кончая именами современной прозы и поэзии. Но все же меньше, чем это было бы нужно. Поэтому я сделал обзор о тенденциях развития трех литератур. Но опирался на материалы литовских и латышских литературоведов. То есть прямой контакт у меня тоже отсутствует, что уж говорить о простом читателе, который, можно утверждать, не имеет никакого представления о современной латышской и литовской литературе.

- Вы, пожалуй, чаще бываете в Финляндии, чем в Литве и Латвии.

- Конечно, должен признаться с определенным сожалением, что, например, в Риге я был последний раз в конце 80-х, в то время как в 90-е посетил Финляндию раз 50-60! В Литве - в начале 90-х, когда произошло возрождение и наши страны провозгласили свой суверенитет как государства, - всё. Больше я не бывал ни в Литве, ни в Латвии. И напрасно. Мне рассказывали, что Рига процветает. И мы должны принять во внимание тот неоспоримый факт, что Рига является центром, своеобразной столицей Балтики. Это связано исторически с локализацией культурной жизни в этом регионе и даже количеством жителей. Миллионный город. И мы знаем, что первые инвестиции, и первые торговые, экономические и культурные контакты, как и посещения крупных политических и общественных деятелей, коснулись Риги, Латвии. Общее место встреч все-таки не Таллинн, а Рига - в качестве Балтийского центра. Наша первая задача, я думаю, чтобы во всех университетах Риги, Вильнюса, Тарту и Таллинна больше изучали языки трех государств, ближайших соседей, потому что именно знание языков поможет нам "вой-

ти” в культурное пространство другого народа, и более того - вступить в прямой контакт. Мы очень нуждаемся сегодня в прямых мостах; кроме того, что у нас имеются евросоюзные мосты, и даже - тем более! Тем более и потому, что у нас проложен единый исторический мост.

- Сегодня наверняка в Литве и Латвии мало переводится эстонских авторов, и наоборот. Как обстоят дела в Эстонии? Ведь нужны переводчики, корпус которых практически не пополняется, большая проблема возникла даже с русским языком. В какой-то мере утрачена переводческая школа...

- Это можно понять. В первое десятилетие независимости произошел английский бум. Молодые люди занялись изучением исключительно английского языка, и многие из них стали синхронными переводчиками. В результате государственного приема студентов английский язык как предмет распространен во всех университетах. Но будет роковой ошибкой, если мы не позаботимся о том, чтобы окружающие нас народы и культуры обрели возможность общаться с нами напрямую - на русском, финском, латышском и литовском языках. Мы нуждаемся в государственном заказе на переводчиков. На переводчиков всех этих языков, в двустороннем порядке. И особенно я сожалею, что знание русского языка значительно понижено. Ну, конечно, все говорят, что международный язык сейчас английский и русские сами общаются с представителями других народов по-английски, однако именно культурная коммуникация может состояться только при знании языка той страны, с которой ты общаешься. Чтобы познакомиться с литературой того или иного народа, безусловно, необходимо знать его язык, в том числе финский. Вот кажется, что он нам ближе, что мы, эстонцы, его знаем, но все равно, хотя я владею финским языком, когда я пишу или читаю художественное произведение финского автора, чувствую - знаний не хватает. Уровня знаний... С литовским и латышским еще печальнее. В Тартуском университете открыли недавно, насколько я знаю, профессию венгерского языка. И это финансируется Венгерским государством, которое хочет, чтобы далекие “родственники”-эстонцы лучше узнали их литературу и язык. Финское государство поддерживает здесь у нас два лектората - в Тартуском и Таллинском университетах. Такой же межгосударственный договор должен иметься между Эстонией и Латвией, Эстонией и Литвой. Нужно, чтобы все три государства были заинтересованы и договорились об изучении языков на уровне профессуры, не то-

лько лектората. Да, в Таллиннском и Тартуском университетах мы можем изучать латышский язык, в рамках общего курса, начального, но для специального изучения языка требуется профессура или хотя бы доцентура, и два-три преподавателя, не только по языку, а, например, по латышской культуре и литературе. То есть - чтобы здесь работал небольшой центр, который имел бы возможность распространять эту культуру в Эстонии, знакомить с ней.

- Через университеты, специальные центры, может быть, как Бюро Совета Министров Северных стран, Гёте-институт или Финский?..

- Да, и через университеты, и через местные посольства - на уровне всех этих стран, а также требуется участие академических структур и национальных обществ.

- Рейн, финская литература Вам близка. А что все-таки из латышской и литовской Вам дорого?.. Что под рукой на книжной полке?..

- Очень мне по душе финско-шведский поэт Клаэс Андерсон, современный поэт, недавно у нас переведенный. Из финской классики - Вяйно Линна, его эпический роман "Неизвестный солдат", который, может быть, и в Эстонии еще мало читан...

- Кстати, о том, что он с большим опозданием - из-за идеологических препон - перевел этот роман на эстонский язык, в 96-м, через сорок лет после появления оригинала, говорил Эндель Маллене (светлой памяти) у нас в "финском", шестом номере 1998 года...

- ...А латышскую поэзию я знаю прежде всего по переводам в "Лооминге"*. Это Ульдис Берзиньш и Гунтарс Годиньш. Конечно, люблю классику, одно время очень увлекался Янисом Райнисом, потому что вообще меня интересовала больше эпическая панорама - драма, трагедии. Если говорить о модернизме, то я останусь в согласии со своим поколением... Из современной латышской прозы сразу же получил известность и уже переведен на эстонский язык прекрасный роман Норы Икстены "Праздник жизни".** Из литовской литературы я называл уже Межелайтиса. А вот Томас Венцлова как поэт не переведен на эстонский язык, ведь он был диссидент, уехал в Америку... Но некоторые его статьи потом переводились, и я читал их... Пьесы литовского драматурга Казиса Сая были по-

* "Лооминг" ("Looming" - "Творчество") - литературный журнал Союза писателей Эстонии.

** Русский вариант романа опубликован в журнале "Дружба народов" № 10 за 2004 год.

ставлены в наших театрах... О таких авторах, как Рикардас Гавелиус и Юрга Иванаускайте, могу судить только по фрагментарным переводам их романов, полных еще нет...

- Если можно, и о личном. Над чем Вы сейчас работаете?

- Надеюсь, в этом году у меня выйдут два сборника статей, один академический - "Пульсирующий текст", другой - со строгим отбором эссе последних десятилетий - "Удостоверение личности". И если Бог даст силы, закончу свой новый роман "Университет" - о моих годах в Тартуском университете, начале 70-х прошлого века, и о моем самом главном учителе-слависте, поэте Вальмаре Теодоровиче Адамсе...

- Спасибо.

Людмила ГЛУШКОВСКАЯ

Апрель 2006

Таллинн



*Рейну Вейдеманну и Эри Класу
- ровесникам, коллегам, друзьям*

Накануне последних президентских выборов, которые привели во дворец в Кадриорге Арнольда Рюйтеля, Рейн Вейдеманн опубликовал в газете “Ээсти Пяэвалехт” на первой полосе призыв-пожелание - выбрать эстонским президентом Эри Класа.

Такое серьезное предложение в момент уже набравшей полный ход избирательной кампании, сделанное спонтанно, как это порой свойственно искренним и эмоциональным людям, все же не было взвешенным и трезвым шагом, скорее результатом наплыва чувств. А именно, Вейдеманн, как это следует из статьи, побывал накануне на концерте, где Эри Клас дирижировал Оркестром молодых музыкантов Европы, исполнивших знаменитую “Оду к радости” Бетховена.

Знаток дела, если бы он вскрыл и проанализировал все сознательные и подсознательные мотивы, движущие автором этой статьи, смог бы заключить, пожалуй, что Вейдеманн поддался эмоциональному преувеличению, что он слишком растроган, потрясен и впал в далекое от реальности состояние, порождающее полнейшую безответственность.

Вейдеманн, разумеется, был очарован бетховенской музыкой, но, как это нередко случается с людьми, не имеющими систематического музыкального образования, которые в каж-

Юло Туллик (1940) - известный эстонский писатель, эссеист, организатор многих творческих проектов, наш постоянный автор, член редакционного совета. (Во всех эстонских биографических словарях указано: брат-близнец писателя Юри Туулика. И наоборот, когда о Юри!)

дой подобной ситуации стараются добраться до самой сути, Рейн на концерте был буквально прикован к Эри Класу, сопровождал взглядом каждое его движение, каждый взмах дирижерской палочки, - такой несокрушимый мужской напор исходил от фигуры дирижера, - и Вейдемманн спутал, видимо, причину со следствием, то есть Бетховена с Класом, ошибочно полагая, что именно дирижер породил то удивительное душевное состояние, катарсис, которое и испытал Вейдемманн.

Избирательная кампания достигла в то время своего пика, и Вейдемманну привиделось вдруг, что палочка дирижера может стать той волшебной палочкой, единственной в своем роде, которая способна подчинить себе многочисленные, спорящие друг с другом партии.

Призрак исторического предвидения, явившийся Вейдемманну с высот бетховенской музыки, заставил его, как некоего пророка, вещать всему миру.

Четко представляю себе, как в тот мартовский вечер они с женой Андрой вышли из Концертного зала и по пути к машине Андра сказала, что им придется заехать в супермаркет, чтобы купить сливок и свежих булочек для ее престарелой матери, тещи Рейна.

Но воспитанный и всегда внимательный муж, сидевший рядом, ничего не слышал, так он был поглощен своей навязчивой идеей. Спокойный и трезвый голос Андры не произвел никакого воздействия, Рейн лишь промышчал что-то и направил машину напрямиком к подъезду дома на улице Гонсиори.

Перчатки, шапку и шарф он еще бросил на столик в прихожей, а вот куртку скорей всего не снял и обувь не поменял на домашние тапочки, но без промедления бросился к компьютеру, чтобы под воздействием обуревавших его эмоций тут же обратиться с призывом к эстонскому народу: Эри Клас - ваш единственный достойный президент!

Нисколько не сомневаюсь, что для Вейдемманна в тот момент исход президентских выборов уже был решен и все дальнейшее казалось пустой формальностью - примерно так же, как в прошлые времена народ с радостью и единодушием избирал в состав Верховного Совета ЭССР всех рекомендованных Центральным Комитетом КПЭ героев труда и деятелей культуры.

Мне случилось прочесть этот страстный призыв Рейна Вейдемманна рано утром в седьмом часу за утренней чашкой кофе.

Я прочел отчет творческого человека о глубоком переживании, полученном им на концерте, отчет, который он неожиданно сводил к политическому отклику на злобу дня. Я прочел статью о дирижере высшего класса, о его способности проник-

нуться величию бетховенской музыки, однако логическим завершением было не предсказание ему новых творческих свершений за дирижерским пультом, а предложение, больше смахивающее на судебный приговор, - сделать его новым хозяином президентского дворца в Кадриорге!

Выросший в провинциальной глуши, на островном побережье, я всю жизнь мечтал вырваться на океанские просторы, а тут вдруг сообразил, что один мой коллега и друг хочет другого моего собрата по нашему общему культурному пространству вырвать с высокой волны успеха и засунуть его на тихое балтийское мелководье.

“Нет, Рейн, это дело у тебя не пройдет!” - сказал я себе в тот тихий ранний утренний час у себя дома в Кадриорге, в какой-нибудь сотне метров от президентского дворца. И решил, чтобы слегка охладить его благородный порыв, рассказать о своей наиболее запомнившейся встрече с Эри Класом - не в тот момент, когда он дирижировал перед многотысячной аудиторией, а наоборот, о своем однокашнике и приятеле Эри, когда он сладко спал и даже во сне не помышлял стать эстонским президентом.

Дело было так.

22 июня 1984 года, будучи в ФРГ, в Киле, городе-побратиме Таллинна, я с одним финским священником направился в ресторан шикарного тамошнего отеля “Kieler Kaufmann”. Мы были участниками большого международного форума, посвященного началу Великой Отечественной войны. Там были писатели и историки из десяти стран.

Я прибыл из Москвы, где всю ночь не спал, и пригласил финна на чашку двойного кофе-эспрессо.

За соседним столиком сидели трое элегантно одетых в белое немцев. Тот, кто сидел спиной ко мне, непрерывно рассказывал анекдоты, остальные двое громко смеялись.

От всего их столика веяло богатством, успехом, самоуверенностью и здоровьем. А кроме богатства и успеха, еще и совершенной свободой поведения. За столиком сидели типичные представители высшего класса Западной Германии 80-х годов - богатая, самоуверенная, представительная раса, не страдающая комплексом вины, свойственным предыдущему поколению, люди, которые могли смело поглядеть в глаза еврею и пожать ему руку.

Когда же мы с финном у себя за столиком завели приятельскую беседу, тот из немцев, кто сидел к нам спиной и рассказывал анекдоты, вдруг поворачивается к нам - против солнца и сквозь его солнцезащитные очки я глаз его не вижу - и говорит на чистом эстонском языке:

- Кто-то так загордился, что уже и своих не признает!

Этот элегантный немец, весь по-летнему в белом, загорелый, сильный, молодежавый, в полном расцвете сил, был наш Эри Клас.

Я поднялся из-за стола, чтобы поздороваться за руку с Эри и поприветствовать двух его друзей на немецком - "Ich freue mich sehr!", как научил меня до поездки переводчик Мати Сиркель. Друзья его оказались банковские служащие, они только что вернулись с увеселительной прогулки на яхте по Кильскому заливу.

Немцы с воодушевлением говорят, с каким успехом Эри дирижировал вчера на концерте. Немцы - влиятельные господа. Эри - звезда, знаменитость. Я - его соотечественник, знакомый. Так что немедленно повышен в статусе. Взят за ухо, вышшен над толпой.

И вдруг и я тоже начинаю громче говорить, громче смеяться. Здесь в ресторане эти трое господ за соседним столиком сейчас самые уважаемые. Они здороваются со мной за руку, а это по крайней мере знак кельнеру, как следует ко мне относиться.

И Эри говорит:

- Вечером ты пойдешь со мной в театр! У меня два билета.

- Но ты ведь знаешь, Эри, что я и в Эстонии-то в театр не хожу. А здесь-то что меня заставит?

На что Эри Клас, человек мира и великий знаток дела, говорит:

- Сегодня вечером - лучший в мире театр пантомимы! Французы! Ничего подобного ты в жизни не видел. И если не увидишь сегодня, то не увидишь никогда. Ни одного лишнего билета - кроме того, что у меня в кармане!

- Пойду! - говорю я. - Но боюсь, могу заснуть. Не сплю уже вторые сутки.

И я рассказал, как меня недавно подвели Москва и Сергей Михалков, председатель Союза писателей.

Мы с Сергеем Михалковым должны были представлять всю необъятную, посвященную войне советскую литературу на представительном международном круглом столе в Киле, за которым в день начала войны 22 июня собрались писатели из 10 государств.

- Мы встретимся с Вами, Юло Карлович, у главного входа Шереметьево-2 в 7.30, вылет в 10.05. Успеем еще кофе выпить и обсудить, кто о чем будет говорить в Киле, - предложил Михалков.

Ночевал я в доме у своего давнего друга, окнами его квартиры выходила на Новодевичье кладбище. Будильник был поставлен на 5.30, поскольку на такси до аэропорта из центра Москвы добираться надо больше часа.

Сон никак не шел, да и будильник остановился, так что я не решился заснуть, чтобы вообще не проспять отлет.

В 7.15 я уже стоял у главного входа в аэропорт. Погода была летняя, душная, несмотря на такой ранний час.

Сергей Михалков к 7.30 не появился. В 7.45 я сказал себе, что он, видимо, попал где-нибудь в пробку.

В 8.30, когда солнце стало еще больше припекать и безжалостно плавить асфальт, я решил, что причина опоздания - возраст за 60, сердечные перегрузки.

И в 9.00 - никакого следа русского писателя, попросившего эстонского коллегу ждать его в 7.30 у главного входа в аэропорт Шереметьево-2.

- Всякое может случиться, - сказал я себе в 9.15 и направился к накопителю, откуда тебя сопровождают в самолет.

- А вы куда?

- На Франкфурт, 10.05!

- Посадка закончена! - сказали мне на это.

Посадка на громоздкие и тяжелые русские реактивные самолеты обычно заканчивалась за целый час до вылета, потому что им надо было “разогреться” гораздо дольше их западных аналогов. Это были удобные самолеты, но технически несовершенные. Это были социалистические самолеты.

Потом выяснилось, что Михалков действительно был в Шереметьеве уже в 7.30, но ему и в голову не пришло идти встречать коллегу-эстонца к главному входу, потому что он привык пользоваться специальным входом для депутатов Верховного Совета, где его поджидало элитарное обслуживание со стороны вышколенного молодого персонала.

И когда в 9.15 мне сказали “Посадка закончена!”, Сергей Владимирович уже сидел в элитарном советском салоне и ему предлагали бутербродики с красной икрой.

И вот я стою посреди огромного зала ожидания Шереметьева-2, держа в руках дипломат, не спавши всю ночь и не зная что делать - мой самолет улетел.

Первым делом я спускаюсь на лифте вниз на два этажа, в мужской туалет.

Облегчаюсь.

Теперь куда ни шло.

И, будто в утешение, мне почему-то вспоминается история четырехлетней давности, происшедшая с моим братом-близнецом Юри здесь же, в аэропорту, когда он летел в Болгарию на какой-то фестиваль юмористов и старательный инструктор напомнил своему подопечному, что Болгария тоже за граница и лишних рублей брать туда с собой не положено. Мой брат, получивший на острове Абука приличное провинциальное воспитание, не знал, что лишние деньги надо прятать в ботинок,

а на вопрос русского пограничника следует, смело поглядев ему в глаза, громко и четко отвечать на ломаном русском языке: “Нет у меня деньги, понимаешь!”

И вот мой брат Юри входит через главный вход в аэропорт Шереметьево - дело было в самый разгар лета, - делает 50 шагов в сторону к какой-то куче кирпича и прячет там две 50-рублевые купюры - под шестой кирпич, считая с левой стороны.

Вернувшись назад спустя десять дней, он обнаруживает, что куча на своем месте; счастливый и довольный собой, он поднимает кирпич и, пораженный, долго разглядывает пустое место - там одна лишь святая русская земля, а денег его нет и в помине. И после этого раздражается таким трехэтажным русским матом, который благовоспитанные люди не рискнут перевести на эстонский, - год службы в советской армии в Бобруйске не прошел все-таки даром!

Этот случай, неожиданно вспомнившийся мне тем ранним утром в туалете аэропорта Шереметьево, неожиданно утешает меня и восстанавливает душевное равновесие. Я почти возвращаюсь к своим обычным параметрам: я спокоен, уравновешен, умен, хорошо воспитан, скромн, симпатичен. И как раз вовремя вспоминается давнее поучение поэта Александра Суумана:

“Если что-то не так, если нет выхода, надо прежде всего подойти к большому зеркалу, поправить галстук и тщательно причесаться”.

Так я и поступил.

И вот я смотрюсь в зеркало - отличный галстук, скромная прическа, модный пиджак, элегантный дипломат в руке - и должен признать: такого человека никто в беде не оставит.

“Мировое зло для того и создано, чтобы ему противостоять”, - говорю я себе.

И этот представительный мужчина в расцвете лет приступает к изучению всевозможной висящей на стенах аэропорта рекламы, а затем поднимается лифтом на шестой этаж, где размещается представительство агентства “Люфтганза”.

Шесть дам, которых иначе как красотками и назвать нельзя, одновременно поворачивают к нему взоры, полные внимания и готовности помочь. Перед ними живой представитель советской военной литературы, да к тому же изъясняется по-немецки короткими фразами, чтобы допустить поменьше ошибок.

Из его слов следует, что он нечаянно опоздал на рейс во Франкфурт, а завтра утром в 10.30 у него доклад в Кильской ратуше на писательском круглом столе стран Балтики.

- Может быть, господину угодно чашечку кофе и рюмку коньяку? - предлагает одна из красоток.

- У нас сегодня вместе с австрийцами еще шесть рейсов на Франкфурт. Какой вам подходит? - спрашивают его.

А одна, особенно очаровательная, добавляет:

- Я сама, например, лечу рейсом 13.15.

Тут уж не до выбора.

- Если моя компания вас устроит...

Будучи порядочным человеком, счет за билет предлагаю послать в бухгалтерию Союза писателей СССР, но - говорят они - об этом и речи быть не может, ведь для них помочь другой авиакомпанией - дело чести.

Вот так и лечу я во Франкфурт, а оттуда в тот же вечер в Гамбург. Ночь продремав на скамейке у железнодорожного вокзала, я утренним поездом вовремя, хотя и сонный, добираюсь до Киля, города-побратима Таллинна.

Я почти сплю на ходу, когда мы с Эри Класом добираемся до наших кресел в театре пантомимы.

Большой красивый зал, заполненный публикой до отказа, даже приставные стулья у задней стены.

В зале царит особая напряженная атмосфера - оживление, ожидание чего-то необычного, особая гордость, что ты оказался в числе избранных.

Французы вышли на сцену и сразу же, с первой минуты, очаровали, захватили, околдовали публику - они действовали с такой свободой, непринужденностью, простотой, волшебством, которые и являются признаками великого искусства. Они выступали на самом высоком уровне. Так, как редко когда выпадает видеть. Французы заставили публику смотреть во все глаза, раскрыв рты, затаив дыхание, с изумлением и воодушевлением.

В течение первых десяти минут Эри несколько раз поворачивался ко мне и вдохновенно восклицал:

- Видал!

Атмосфера в зале становилась все теплее. Уровень искусства французов был таким, что тут уж ни прибавить, ни убавить. Мы пребывали в особой атмосфере удобства, счастья, избранности. Нам было хорошо. Было удивительно приятно и удобно. По всему телу разливалась сладкая истома. Глаза смыкались сами собой.

Будучи человеком благовоспитанным, я предпринимал отчаянные усилия, чтобы, отключившись на несколько секунд, снова смотреть на сцену, где французы, представители лучшей в мире пантомимы, знай потешали избранную публику.

- Видал! - снова крикнул Эри. Зал бушевал, зал колыхался, как морская волна, как теплое летнее море, мягкое, убаюкивающее.

Никогда в жизни я не хотел слишком многого, искусства и

культуры одновременно, я не употреблял их как ежедневную пищу, а лишь понемногу и регулярно - как витамины. Лучше уж поменьше, но чтобы было качественно. И в этот вечер, видимо, достиг своего предела.

Меня непреодолимо клонило в сон. Русский недосып роковым образом сказался сейчас, в зале, полном немецкой публики.

И я задремал. Когда же меня разбудил очередной взрыв смеха, бурные аплодисменты, одобрителный топот ног, я тайком взглянул налево в опасении, не заметил ли Эри моего сонного состояния? Открывшаяся мне картина достойна того, чтобы ее увидел Рейн Вейдемани, прежде чем выдвигать Эри на пост президента.

Эри спал.

Эри Клас спал рядом со мной в концертном зале города Киля в мягком кресле, в то время как на сцене выступали артисты лучшей в мире пантомимы. Я боялся пошевелиться, чтобы не коснуться его, чтобы не потревожить глубокого сна дирижера Эри Класа.

Эри спал капитально, спал колоссально, спал грандиозно.

Эри спал, как спал Господь Бог на седьмой день творения.

Эри спал, как спал Крейцвальд в своем Выру, когда написал последнюю строчку "Калевипоэга".

Его сон был глубок, оправдан, заслужен, как сон маршала Жукова, разбившего немцев под Москвой.

Эри не храпел. Он спал глубоко, но дышал легко и незлышно, как и подобает воспитанному человеку. От него веяло солнцем, теплом, здоровьем и каким-то особенно тонким, едва уловимым запахом хорошего одеколона.

И было в нем еще что-то особое по сравнению с находившимися в зале - он представлял там советскую элиту. Во мне, сидящем в этом зале рядом со спящим Эри Класом, заговорила, видимо, гордость советского человека и классовая солидарность, то есть самое высокое, что можно было вложить в эти понятия за все 50 лет, когда у нас верховодили русские.

Этот человек даже во сне был непередаваемо элегантен и прекрасен, он вызывал чувство гордости и зависти одновременно.

Это был молодой, в полном расцвете сил еврей, с очень хорошим здоровьем, с чистыми, классическими чертами лица; его лицо светилось чистотой естественного человека, искренностью и открытостью, а сверх того - эстонской простотой, честностью, достоинством и мужеством.

Эри был полнейшее совершенство!

И я опять задремал.

Эри, скорей всего, этого не заметил - мы оба проснулись от нового взрыва аплодисментов.

Эри проснулся, и в тот же момент оказался бодрым и полным сил - как спринтер на старте стометровки. Выспавшийся, отдохнувший, бодрый и вновь непередаваемо элегантный.

- Видел!

И тут же продолжил:

- А ты сопротивлялся. А ты не хотел идти. Такое раз в десять лет бывает!

Эри был прав.

Действительно, я и за десять лет не видал ничего подобного - чтобы знаменитый музыкант так достойно, так предстательно спал на концерте.

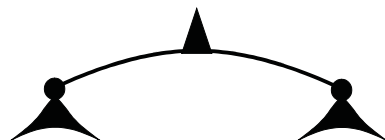
Великое искусство в этом зале соединилось, таким образом, с трезвой реальностью, а этот симбиоз породил глубочайшее переживание.

Французам аплодировали громоподобно.

Когда мы с Эри пробирались сквозь восторженный немецкоязычный человеческий коридор по направлению к выходу, его то и дело останавливали, узнавали, благодарили, осыпали похвалами за состоявшийся накануне симфонический концерт, за доставленное переживание, которое было *wunderschön* и *wunderbar*. И каждый второй при этом пожимал руку и мне, господину в элегантном пиджаке, с красивым галстуком, с умным задумчивым лицом, по всей видимости, такому же славному деятелю, раз уж он пришел с самим Эри Класом на этот фантастический концерт, куда попали одни избранные. И все немцы, конечно, с удовольствием отметили про себя, какие у нас обоих замечательно свежие, отдохнувшие лица, будто мы только что хорошенько выспались.

*Перевел с эстонского
Светлан СЕМЕНЕНКО*

Светлан Семененко (1938), поэт, переводчик эстонской классической и современной литературы, по представлению журнала "Вышгород" стал лауреатом премии фонда Kultuurkapital за 2005 год в номинации русских писателей Эстонии.



ХОКАН САНДЕЛЛ

КАЖЕТСЯ, АНГЕЛ

Кажется, ангел, с тяжелыми крыльями - высоко вскинутыми и тянущимися к потолку, бьется о стену, теряя оперенье, оно мелькает перед глазами, но никогда не падает, как снежинки, моя постель - чужая территория.

О, крылья голые - как будто кожа тела, но ледяные, хрустальные, холодные, кажется мне, такие переливающиеся - как радуга, как павлиний наряд, Еще ярче, чем перламутр, так мягки они под рукой, будто спинка кошки, и всегда ускользающие. Редко он прикасается вновь, разве что иногда, когда болеет ребенок, коснется хрупких маленьких грудных костей, но иногда и к подросткам - размышляя вне пределов досягаемости, пытаюсь понять блестящий след от слюны и румянец от поцелуя, склоняется там, где они появляются и пропадают.

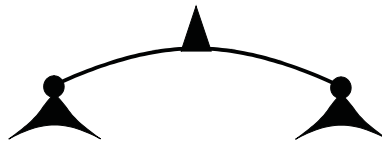
И тогда вздымаются высокие белые крылья и вытягиваются, для детей они становятся мягкими, и стороны крыльев окрашиваются в бледновато-голубой, как споры плесени пенициллина:

лечащие великаны, кажется, они горят от нетерпения и тоски по миру, несмотря на запрет.

Кажется, ангел, но не херувим из полубожественной-полуземной сферы, с когтями рыси и кривыми тёмно-очерченными глазами.

Нет, никакой не страж, но светлее и выше, рослого стана, носитель истины, в человеческом обличье, стройный, с гладкой мускулатурой, подходящей как для мужчин, так и для женщин.

С темными густой синевы кудрями: лазурный перелив,
с чернотой ночного неба, если бы чистые щеки были
покрыты бородой, была бы она по-восточному синеватой.
Мощными, объемными машет он крыльями
по всей комнате, ничего не опрокидывая.
Тяжелые крылья могут окутать письменный стол,
и ни одна пылинка не поднимется, и только пальцы,
обхватив ручку, тихо двигаются, оставляя слова,
слабо мерцающие и непривычно освещаемые с краю,
для кого угодно, чтобы попробовать озвучить тот голос,
который однажды искал мужское в Марии
и наисокровенное женское в Мухаммеде.



ЭВА РУНЕФЕЛЬТ

ОТ ПРАВДЛЕНИЯ

Час до отправления,
рука рассеянно ловит
кофейный пар.

Дождь.

Час до отправления.

Путешественники
сидят на стульях
в нагретом помещении.

В воздухе чувствуется медленная смена сезона,
и на возделанный нами край
налетает ветер, всё меняется.

Позднее кто-то в самолете
вслух мечтает о скалистых горах,
и ладонь отползает,
пряча утомляющий запах железа.

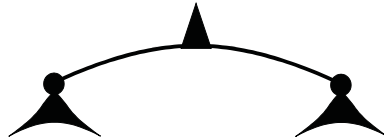
Мы говорим:

в земле копошатся цикады,
чтобы, тяжелыми и уверенными в темноте,
наполниться светом,
который они никогда не видели,
но хранят в памяти.

Есть время, исчисляемое бесконечностью,
готовое, когда я успокоюсь в земле,
взять нас без тяжести вновь.

Может, поэтому нам не хватает
тяжелого и надежного
удивления друг в друге.

Час до отправления.
Дождь.
Мы прячемся в дожде, который еще вернется.

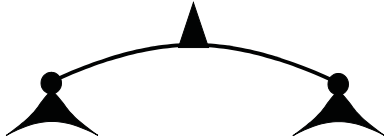


КУРТ ВЕСТ

я желаю чтобы сердце твое само
упало мне в руки
я обещаю быть предельно
осторожным
я обещаю
не выжимать влагу
из твоего сердца
и не выплескивать в
первое попавшееся окно

ценить твою любовь

осмелиться на твою любовь



КИКИ АЛБЕРИУС-ФОРСМАН

ВСТРЕЧА

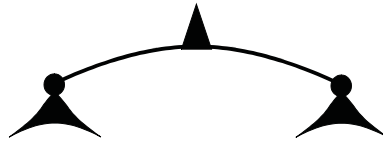
Берег - это встреча
между морем и землей.

Горизонт - это встреча
между морем и небом.

Супружество моряка -
это встреча между совместной жизнью
и одиночеством.

РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ

Мы идем вместе
рядом друг с другом,
юбка в цветочек
и джинсы
рядом друг с другом.
Наши тела, мышцы,
кожа, волосы, ногти
рядом друг с другом.
От этой легкости
углекислая кровь
бежит в наших жилах,
мы рядом друг с другом.
От глубины и полноты нашего слитного бытия
наша мягкость походки,
и цветочки на юбке кружатся в танце.
Мы ловим мгновенья,
когда ветер гонит нас обоих.
Когда мы
рядом друг с другом.



РАФИК САБЕР

КОГДА ТЫ НЕ ПРИШЛА...

Отчаяние охватило меня,
посеяло искру внутри,
когда ты не пришла.

Подобно утопленнику
был я гоним
волнами в бушующем море.

Холод пронзил меня
то ли от ожидания,
то ли от раздумий!

Молния вонзилась в меня,
запутанной стала судьба моя,
а пепел - моим прибежищем,
когда ты не пришла.

ШВОРЕНИЋ

Откуда ты принес весь этот свет?
Как получилось,
что мои ночи так озарены,
а небеса беззвездны,
такие солнечные дни
и так огонь полыхает внутри?
Оставили годы свой след?

Как создал ты весь этот свет?

Перевела со шведского
Лина БОНДАРЕНКО

Все авторы - участники весенних фестивалей поэзии Северных стран, которые вот уже несколько лет проводятся в Эстонии. По приглашениям Бюро Совета Министров Северных стран в Таллине съезжаются-слетаются-пришвартовываются десятки разноязычных пиитов. Но они прекрасно понимают друг друга, сочетая свои голоса в единый Дух Слова - то ли в церкви Нигулисте, то ли в Братстве Черноголовых, то ли на лестничных маршах Национальной библиотеки, то ли за столиками кафе... Впрочем, не только в Таллинне, но и в Тарту, и в Нарве... Это слово разносится далеко окрест, оно издается поэтическими сборниками в "Ээсти Раамат": на эстонском и "параллельных" родных языках. "Вышгород" несколько раз озвучивал эти голоса по-русски. Сегодня - переводы со шведского. Хокан Сандел (1962, Мальмё) сейчас живет в Норвегии, в Осло, любит путешествовать. Эва Рунефельт (1953) - Стокгольм, также прозаик и художественный критик; в переводе Лины Бондаренко подборка ее стихов "Месяц воспоминаний - "Вышгород" 1-2,2002. Курт Вест (1959, Сан-Франциско) пишет и для детей, психолог, "летучий голландец", какое-то время работал в Африке... Кики Албертус-Форсман (1955) радио- и тележурналист в Оланде, ее главная тема - семья моряка, верность, ожидание, любовь. Рафик Сабер (1950) - родом из Южного Курдистана, иранец, выпускник Багдадского университета, в 89-м переехал в Швецию.



ПУТЕШЕСТВИЕ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ



Действие романа происходит на трех временных уровнях. Маршрут морского путешествия ученика картографа из Голландии Иона в Северном Ледовитом океане повторяет спустя три с половиной столетия студент-океанограф Энно. Третий главный герой, путешествующая по Греции Теле, на самом деле тот же Энно, но теперь уже набравшийся жизненного опыта и повидавший свет человек. Все три путешествия полны суровых реалий бытия и зыбких мечтаний.

...И тут случилось что-то непонятное. Наш парусник подхватило неведомым потоком и понесло вперед меж островами, от парусов толку было мало. Пролив между материком и гористым островом стал сужаться, впереди послышался непонятный гул, словно где-то кипел огромный котел. Так все и оказалось, когда мы свернули к каменистому мысу. Вода мчалась из моря в пролив, словно в огромную глотку, а наперерез неся встречный поток. Затем оба потока столкнулись, и корабль устремился в гигантскую воронку - под вопли и проклятия всех, кто на нем был.

Корабль втягивало во чрево воронки, ощущение было жуткое. В последующие мгновения мы стали было

Рейн Пыдер (1943) учился в сельской школе и с детства мечтал о путешествиях. В 1961 году поступил на географическое отделение Тартуского университета, но учебу прервала служба в армии. Осенью 1966 года вернулся в университет, где специализировался на океанографии, что дало ему возможность посетить Норвегию и Исландию. Эти путешествия легли в основу седьмого, и самого большого, романа писателя "Путешествие в трех измерениях" ("Hula", Eesti Raamat, 2000).

Профессиональным океанографом Рейн Пыдер не стал, тяга к писательству привела его в журналистику, позднее он работал в издательстве "Ээсти Раамат". Сейчас является главным редактором этого издательства. Член Союза писателей, автор 17 книг.

возноситься, и тут штевень накрыло гигантским водяным валом, прокатившимся через всю палубу, погрузившим низ парусов в море и смывшим все, что было возможно. В эту секунду впереди показались угольно-черные склизкие скалы, в которые мы бы непременно врезались или, в лучшем случае, оказались зажатыми между ними, и тогда пучина поглотила бы нас... Если бы следующий водяной вал за мгновение до того не настиг нас, да так удачно, что корабль накренился, описав кормой полукруг, но удержался на плаву. Благодаря этому мы спаслись от верной смерти. Мощный поток выпрямил судно, мы оказались на краю воронки, и неведомая сила отнесла нас от пучины. Оглянувшись, мы увидели позади несколько бочек, в одной были клетки с взятыми в плавание курами, и, о ужас! обломок жерди, за которую цеплялись руки смытого в воду бедняги, молившего нас о помощи. Затем новым огромным валом поглотилось все, включая нашего собрата, совсем недавно такого сильного и славного, сыпавшего шутками, сплевывавшего на палубу и честившего капитана Хоопа, не пожелавшего рассчитаться с нами за первую неделю плавания...

Молниеносность случившегося ошеломила нас. Однако наш корабль несло все дальше, и даже если бы мы захотели вернуться на место трагедии, у нас не осталось бы сил это сделать. Постепенно течение стало ослабевать, и наконец мы замерли в узком заливчике, где с трех сторон возвышались скалы, местами покрытые зеленеющими лужками. Отвесный берег казался ближе, чем было на самом деле. Казалось, он вот-вот рухнет на палубу.

Теперь нас окружал полный покой - словно в противовес недавнему разгулу водной стихии, про которую, как потом выяснилось, кое-кто из нас слыхивал, но сам никогда не видел. Действительность всегда страшнее слухов.

Капитан снова взял в свои руки бразды правления кораблем и командой и велел бросить якорь. Однако вскоре выяснилось, что якорь не достает до дна. Пришлось приближаться к берегу, пока мы не подошли так близко к нему, что один из самых проворных матросов сумел спрыгнуть на сушу и привязать концы к выступу в скале, как к швартовой тумбе. Мы пристали к почти сухому берегу. И тогда спустили трап.

С противоположного борта вода, похоже, вообще не имела дна, и это вызвало во мне легкий ужас - каким образом могут земля и море быть столь отделены друг от друга?

“Мы пережили первую потерю, - произнес Хооп, откашливаясь, и я заметил в его руках молитвенник. - ...Однако это не должно привести нас в отчаяние... давайте помолимся за упокой души бедняги Йошуа...”

Все стояли молча, переживая случившееся.

Я оказался одним из немногих, пожелавших сойти на берег, поскольку не предчувствовал беды и жаждал хоть какого-то разнообразия. (Но так думали не все - на борту среди нас были и люди, верившие в предчувствия.) Тем не менее первоначальное впечатление оказалось обманчивым: на берегу заливчика я обнаружил небольшой зеленеющий луг, который разделяла бурная речка, выбивавшаяся из скальной расщелины с не меньшим шумом, чем тот, что потряс нас недавно в море. Мои три собрата принялись наполнять бочки питьевой водой, я стал карабкаться вверх меж валунами. И вскоре увидел водяное колесо. Его вращала река. Тут же на берегу стояло низкое бревенчатое строение, которое не могло быть ничем иным, кроме как мельницей, мало ли что не похожей на те, что у нас, в Голландии. Я решительно отворил дверь мельницы и ощутил приятный запах свежемолотой муки. На полу лежал наполовину заполненный мешок с мукой. Насколько я понял, жернова вращались, и на них потихоньку сыпалось зерно из хитроумного деревянного конуса. Это означало, что совсем недавно тут кто-то был, но, заметив в фиорде чужой корабль, спрятался.

Солнце проникало вовнутрь сквозь щели в бревенчатых стенах. Неожиданно снаружи мелькнула тень, будто кто-то прошел вдоль задней стены. Я открыл дверь, обошел строение, но никого не было. Только этот непрерывный звук воды и нудный скрип мельничного колеса.

Потом я заметил одного из наших, Магнуса, поднимавшегося вверх, устремив взор чуть выше меня, к следующему выступу скалы, словно он кого-то там видел.

“Глянь-ка”, - сказал он, поравнявшись со мной. Наверху двигалось нечто неопределенное, белое, расплывчатое - небольшая отара овец, но людей видно не было.

К нам поднялись и те двое, что уже погрузили на корабль бочки с водой.

“Будьте осторожны! - предупредили они. - Наверное, здесь кто-то прячется...”

Значит, и они ощутили царившую тут враждебность, которую я почувствовал на мельнице.

Однако все это не помешало нашим людям наброситься на овец, безропотно спустившихся вниз, к большим камням, на ровную площадку, затоптанную и усыпанную

катышками. Похоже, здесь овцы обычно отдыхали - сильные ветры сюда не доходили.

Кровавое дело свершилось быстро - внутренности животных и головы остались валяться среди камней. Не освеженные туши взвалили на плечи и поспешно переправили на корабль, там будет время ими заняться. И мне пришлось схватить самого большого барана за рога, одному человеку тащить его было бы не по силам. Затем вернулись, призвав на помощь нескольких добровольцев. А я остался на корабле и смотрел с палубы, как запыхавшиеся мужики с окровавленными руками взбираются на палубу со своей добычей под ободряющие возгласы остатальной команды.

“Вот это жертвоприношение!” - воскликнул кто-то.

Спасти удалось всего лишь нескольким молодым овечкам, и теперь на склоне горы раздавались их отчаянные крики и сыпались катышки. А мною все сильнее овладевало ощущение, будто со склона горы кто-то наблюдал за нашей кровавой работой, беря на заметку все до последних мелочей. И только явный перевес сил в нашу пользу не позволил ему или им показаться нам на глаза.

Когда корабль отошел от берега и направился к середине залива, дверь мельницы отворилась будто под собственной тяжестью, и темная глубина, как черная пасть, проводила нас, сыпля безмолвные проклятия.

Я стоял на носу корабля, стараясь припомнить, не встречал ли прежде нечто подобное. В моей голове промелькнуло что-то вроде картины из прежней жизни: люди и овцы, отчаянное блеяние и кровь, овцы, люди и окровавленные шкуры! Эта картина пробивалась словно сквозь сон, но была слишком слабой и смутной, чтобы вспомнилось что-то конкретное...

Дальнейшие размышления пришлось прервать - кораблю предстояло вновь пройти через смертельную воронку. Однако нам повезло. Когда мы приблизились к западному берегу залива, штурман обнаружил еще один, более узкий, пролив, резко уходивший вправо. Выбрав этот путь, нам, возможно, удастся обойти водоворот. Но когда мы оказались в самом узком месте, где корабль бортом задел покрытую зеленым налетом скалу, сверху послышался грохот, и на нас обрушился град камней, среди которых были и десятипудовые глыбы. Две свалились в воду рядом с кораблем, подняв мощный водяной столб, а один камень упал на верхнюю палубу, разбив в щепу две палубные доски. Корабль содрогнулся от удара, накренился на один бок, захватив изрядную порцию

морской воды. Глыба так и осталась лежать на палубе. Позднее потребовались усилия восьми или десяти человек, чтобы переправить ее через борт в море, после чего мы с облегчением двинулись дальше. Но это стало возможным после того, как мы миновали самое узкое место. Из камней поменьше один задел лысину матроса Бертранда, набив на ней шишку, которая не спадала несколько дней. Матрос взревел, как раненый зверь, и покачнулся, хотя устоял на ногах. К сожалению, его здоровье и рассудок так и не пришли позднее в полный порядок.

Я уверен, что таким способом этот берег наказал нас за убитых овец.

* * *

“Земля!” - воскликнул я одновременно с кем-то.

На самом деле то было, скорее, порождение хаоса, нежели земля как таковая. Она приближалась к нам, как гигантский каменный парусник, причем куда мощнее, чем можно было бы ожидать - пока не стало ясно, что к ней нас влечет некое течение. Солнце, если оно вообще могло пробиться сквозь сплошь затянутое тучами небо, скрывалось за островом, отчего бы иначе берег казался таким глухим и темным. Кроваво-красные, как разделанная туша, вершины, освещенные слабым светом, и скрытые в тени устрашающе кубового цвета скалы, а позднее дьявольски черные в свете луны, - таким было первое запомнившееся мне впечатление об острове, одиноко стоявшем в холодном океане.

Вскоре стало слышно, как разбиваются волны о скалы. Нам пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы корабль не бросило на черную стену - если бы такое случилось, то от нас вряд ли бы что осталось. И это была бы огромная несправедливость со стороны судьбы, поскольку нам удавалось выходить из более трудных ситуаций.

Капитан Хооп снова потерял самообладание и велел всем собраться на палубе, словно предлагая нам заглянуть в глаза смерти. Не помогли ни паруса, ни якорь: корабль неотвратимо несло на скалы. Однако в последний момент нас подхватило это же течение, развернуло, и мы прошли совсем рядом с острым каменным выступом, до которого можно было бы дотянуться рукой. За этим выступом открылся протянувшийся дугой залив, где нам так удалось бросить якорь. Туман, полумрак, нервное напряжение - все вкупе вызывало иллюзию, будто наступил поздний вечер, хотя на самом деле так далеко на севере

этого не могло быть, и мы отправились спать. Нам всем был нужен отдых.

Ночью я вышел на палубу и испугался. Некое странное свечение пробивалось сквозь туман, словно на небе появилась вторая, еще более мощная луна, но только светила она с неверного направления. Я захватил с собой астролябию и стал искать какую-нибудь звезду, чтобы определить, где, на какой широте мы находимся. Но сквозь туман невозможно было разглядеть что-нибудь, кроме этого странного свечения. Не видно было даже темных силуэтов гор. Со странным ощущением я пошел досыпать, чтобы утром все как следует разглядеть. Я был уверен, что раздобуду для своего Мастера нечто новое, что он сможет нанести на карту.

Раннее утро развеяло мои надежды. Мы все проснулись примерно в одно время и вышли на палубу, где увидели капитана Хоопа в полном боевом обмундировании: в высоких сапогах и суконном кафтане. Он готов был поплыть в лодке на берег, но прежде хотел просветлить наши мозги:

“Про эту землю мы, голландцы, уже знаем... Потому что мы ее и открыли... Это высокий пустынный остров. Но для кое-чего он годится... Хотя бы для того, чтобы укрыться от шторма... Я хотел предупредить вас... Когда вы вернетесь домой, не вздумайте никому ничего говорить о нашем путешествии. Это единственное, что вам следует запомнить!”

Правильно ли я понял - на острове живут люди! Может, это тот самый остров, где нужны овцы, козы и новые поселенцы? Почему-то у меня в голове застряли слова Хоопа “мы, голландцы, знаем”. Неужто другие мореплаватели не знают?

Я жадно впился взглядом в проясняющуюся в тумане гавань на фоне скалистой стены, где стояли и другие корабли - по меньшей мере с полдюжины. Некоторые прижались так близко к стене, что наверняка были пришвартованы к ней пеньковыми канатами. (Потом я обнаружил, что в стене были металлические кольца, Бог весть кем установленные, но в любом случае необходимые, так как места бросить якорь тут было немного.)

Вот тебе на - а мы-то ночью решили, что нас отнесло невзгод к каким далеким берегам! Корабли казались знакомыми, как и их названия, словно они перебрались сюда из какого-то внутреннего порта в Амстердаме. Об этом говорило и то, что происходило на берегу, хотя поначалу было не ясно, чем там занимаются. На узкой полоске бе-

рега и на первой ступени отвеса дымились две большие печи, от которых теперь и до нас стал доходить резкий запах ворвани.

По мере приближения к берегу стали видны навесы и бочки, возле которых люди разделявали некую розовато-серую тушу. Это не могло быть ничем иным, кроме кита. Китов я никогда не видел, но слышал про них. Здесь же были и другие морские животные, некоторые наполовину разделанные висели на деревянных перекладинах. Люди острыми ножами сдирали с них шкуры.

Далее видны были жилища с покрытыми мхом крышами, наполовину углубленные в каменной породе. За ними просматривался зеленеющий склон, удивительно неестественный среди скал. За холмом снова громоздились скалы, а еще выше и дальше вздымалась куполообразная гора, покрытая снегом, а может быть, и льдом. По-моему, именно там я и видел ночью свечение.

“Я тоже слышал про этот порт... О нем говорили в портовой корчме. Но шепотом, чтобы чужаки не услышали... Это очень странное место... Не всякий год сюда можно добраться из-за льдов. То ли штормом нас сюда занесло, то ли Хооп решил сделать здесь остановку?” - переговаривались между собой мои спутники, пока мы подходили к берегу. Сам капитан уже подплыл туда на лодке.

Нас встретили громкими приветствиями, но, похоже, среди собравшихся на берегу не было никого из знакомых. Берег был завален принесенными морем стволами деревьев, напоминавших скелеты доисторических животных.

Мы подошли к людям, ловко и быстро разделявавшим морских животных. Один из них, примерно моего возраста, работавший граненым ножом, даже соизволил заговорить со мною именно о том, что интересовало меня больше всего.

“У нас тут свои порядки. Все, кто отсюда уезжают, дают обет молчания, и я думаю, что вам тоже предстоит... Я даже не спрашиваю, куда вы направляетесь... Значит, вы из Амстердама!.. Послушай, а ты не хочешь отправить на родину письмо кому-нибудь, скажем, своей девушке. Через две недели сюда придет корабль, чтобы отвезти часть людей домой, в том числе и меня. Я мог бы это для тебя сделать...”

На мгновение я подумал о Барбаре. Но взглянув на внушительную фигуру и открытое лицо моего собеседника, почему-то решил, что не надо ему встречаться с Барбарой. И отказался:

“Вообще-то мне некому писать...”

Собеседник никак не отреагировал на мой ответ, продолжая трудиться. Похоже, работа и заработок его устраивали.

“Ты знаешь, что это за гора? - спросил он с загадочным видом. - Бьюсь об заклад, что не знаешь...”

“Ночью я видел какое-то зарево”, - сказал я, не желая показаться простофилей.

“Вот-вот, это огнедышащая гора, - произнес он разочарованно. - Настоящая огнедышащая гора! - Никто бы не подумал, что она может время от времени извергать огонь, раскаленные камни и пепел! Однажды ночью такое случилось, но это было давно, еще до нас... Честно говоря, это ужасно, ведь она совсем рядом...”

Я посмотрел на гору внимательнее. Гора была центральной точкой острова и оказалась выше, чем я представлял. Но вершина, покрытая шапкой снега, выглядела днем мирной и холодной. И у меня возникло ощущение, будто ночью мне привиделось нечто нереальное.

Мы пробыли на острове полдня, запаслись свежей водой, а капитан, неизвестно для чего, купил две бочки тюленьего жира, еще теплого. На следующее утро нам предстояло покинуть остров. Но прежде на борт поднялся странный человек.

Он-то и пришел взять с нас обет молчания. Это была странная процедура. Я никогда не смогу без страха рассказать, как это происходило. Скажу лишь, что сначала всем нам причинили боль в самом слабом для мужчины месте, заверяя при этом, что каждого, кто когда-либо посмеет обмолвиться об острове, постигнет божья кара. Тем не менее я решил нанести остров на составляемую мною карту. И назвал его Землей Яна. Позднее, когда я узнал имя человека, открывшего этот остров, я испытал огромное удивление, потому что попал в самое яблочко.

Когда наш корабль отплывал, нас долгое время сопровождали с громкими криками большие белые птицы с черными отметинами на крыльях. Таких птиц я больше никогда и нигде не встречал...

После пятинедельного плавания “Нансен” приплыл в Берген. Этого события мы долго ждали, но мало о нем говорили, опасаясь сглазить, потому как случиться могло что угодно, ведь указания экспедиции давали с большой земли!

Сперва на горизонте возникла низкая темно-синяя полоса, которая стала постепенно обретать новые оттенки.

Как и ожидал Энно, берег приветствовал их новыми

запахами; мощное дыхание земли врвалось в затихший морской воздух и словно притягивало к себе. Пока они не пристали к берегу и не почувствовали, до чего же легко и приятно ступать по чему-то надежному - по старым деревянным тротуарам ганзейского квартала Бергена.

Но Энно ждал еще одной предполагаемой или реальной (ведь все возможно!) встречи - с удивительным норвежским писателем, у которого был хутор в Винье, в горах Телемаркса. Главной причиной была наверняка прекрасная и загадочная поэма в прозе "Ледяной замок", которую невозможно было до конца понять, разгадать, почему в замке держат взаперти двух девушек. Мечта об этой практически невозможной встрече была тайной Энно, он полагал, что вряд ли кому-то еще на корабле известно имя Тарьея Весааса. Вообще-то прочитанное в книгах у Энно нередко сливалось с действительностью, превращаясь в некий любопытный симбиоз. Во время этого путешествия, особенно тут, в Норвегии, ему казалось, что здесь продолжается то, что он знал или представлял себе уже раньше. Он вообще был книжной натурой, и тот, кто этого не понял, не мог понять до конца и его самого. По меньшей мере сам он так думал в лучшие минуты самооценки. Но у него бывали и такие моменты, когда он ощущал собственное несовершенство, упрекал себя и меньше себя уважал...

Их день начался с поездки по Бергену, во время которой открывались дивные виды на этот город, родившийся на узкой полоске ничейной земли между морем и горами. Теперь были видны и два внутренних озера, или бассейна, лазурь которых так удачно сочеталась с оранжево-апельсиновыми крышами ганзейского города, напомнившего Энно о Таллинне. Особенно захватывающая дух панорама открывалась с высокой смотровой платформы, куда за четверть часа их доставил почти бесшумно работавший и исключительно удобный автобус. Подняться туда можно было и за несколько минут на фуникулере, который, как и во многих других городах Норвегии, был неотделимой частью картины города. Только одна вещь не отвечала ожиданиям Энно - он слышал, что здесь дожди идут семь дней в неделю. Но их первый день в Бергене был удивительно солнечным, и за четыре дня, что они здесь пробыли, однажды моросил тихий, как туман, дождь, превратив Берген в такой, каким он и должен был быть. Энно также не думал, что благодаря мягкому морскому климату здесь так много зелени, в парках даже росли вечнозеленые деревья и кусты.

На оконечности полуострова, хорошо просматривавшейся именно сверху, возвышалось голубое восьмиэтажное здание бергенского института моря. В бергенском музее, предшественнике института, когда-то работал молодой Нансен, бросивший на половине учебу в университете. Сохранилась фотография Нансена: он сидит в лаборатории. И в этом музее он познакомился со своей будущей женой Евой.

Первая встреча международной экспедиции проходила на самом верхнем этаже голубого дома из стекла. После представления участников и официальной части состоялся банкет. Там, за бокалом шампанского, произошла их вторая с Мальвой ссора. После нескольких бокалов шампанского Мальва стала как-то особенно разговорчивой и принялась рассказывать Энно о своих путешествиях и о своем поклоннике исландце Арноре, который хотел на ней жениться; все это было еще до Антона, ее нынешнего мужа. Энно не понимал, с чего это она именно сейчас решила об этом рассказывать. Может, ей просто было жаль, что Арнора сейчас здесь нет? Энно слушал женщину, не слишком вникая в ее слова. И она это заметила и отошла. А у Энно тут же появился новый собеседник, который сам его отыскал - такой же практикант, как Энно, перуанец Рамон, работавший на норвежском "Иохане Кьорте". Энно было вдвойне приятно с ним поговорить, потому что теперь ему не надо было танцевать, а танцевал он неважно, хотя высоко ценил и понимал ту близость, которая рождается только в танце: всеми признанный способ - прикоснуться и чувствовать рядом с собой женщину, до которой в ином случае не решишься и пальцем дотронуться, даже поздороваться за руку. Зато у Мальвы партнеров хватало, поскольку дам на приеме было намного меньше, чем мужчин, хотя сюда были приглашены украсить вечер и женщины, в институте не работавшие. Но затем выяснилось, что Рамон прекрасно танцует, и Энно снова остался в одиночестве, следя, как смуглолицый перуанец кружит с очередной дамой, в том числе и с Мальвой.

Однако в какой-то момент Энно обнаружил, что танцует с Ритой, и получается у него совсем неплохо. Благодаря общей непринужденной атмосфере и выпитому вину он расслабился и почувствовал себя раскрепощенным. Словно освободился от чего-то, чему не мог дать объяснения. Он как будто забыл, что делал и о чем думал все это время. Похоже, выпил больше, чем следовало...

Они оба были в достаточной мере пьяны, и в какое-то

мгновение Рита обвила его руками за шею и сказала, что у них на институтских вечерах так принято. Такой способ танцевать понравился и Энно - подумать только, он танцует с красотой и гордостью гидрохимической лаборатории, если прибегнуть к выражению руководителя лаборатории Монины. Энно понял, что Рита завораживала всех своим темпераментом, увлекала за собой; она даже приблизила к себе Энно, сказав, что “танец отражает ощущение момента, когда партнеры должны слушаться языка своего тела”. (Это выражение было новым для Энно, но оно звучало так красиво, настолько красиво, что позднее Энно записал его в своем дневнике. Вернее, он записал: “Рита была первой женщиной, от которой я узнал, что существует язык тела...”)

Таким образом, Рита научила Энно чему-то такому, чего он не знал: кроме чувств и платонической любви есть еще и любовь тела; эту любовь невозможно объяснить просто тем, что другой человек красив и нравится тебе; человек не может отмахнуться от нее и осудить. В основе этой любви как будто лежит древнегреческая легенда, повествующая о том, что когда-то все люди были одинаковыми, то есть одного пола, а потом их разъединили - и теперь они по всему свету ищут свою вторую половинку...

Если быть честным, то он не мог сказать, что пышногрудая Рита, с высокими скулами, темными, цвета миндаля глазами и русыми волосами запомнилась ему навсегда с первого взгляда. Это происходило постепенно, по мере того, как он избавлялся от робости, привыкал к ней, как бы сравнивая ее все время с Мальвой. Да, наиболее характерными были карие, как миндаль, глаза Риты, добрые и теплые, время от времени становившиеся мечтательными. В глазах как бы сосредоточилось все очарование Риты. И лишь позднее его стал зачаровывать ее голос - в чем-то призывный, мягкий, обещавший нечто большее. Неожиданно в голове Энно мелькнула мысль, что голос Риты почти схож с голосом Астры. Хотя непонятно, чем именно, поскольку временами он казался резким и атакующим, правда, в отдельные моменты. Энно подумал, что, возможно, для него тембр голосов Риты и Астры важен потому, что в его раннем детстве была некая женщина с таким же голосом. Женщина, лица которой он не помнил, он запомнил ее только по голосу. Потому что уже догадывался - все пережитое в сумрачном детстве ведет его по жизни, имеет определяющее значение. Но Рита была женщина, а не девчонка, как остальные работавшие в лабора-

тории. Она опережала Энно, была солиднее и умнее, и Энно следовало смотреть на нее снизу вверх. Да, так он думал раньше, до этого вечера, до их продолжительного сближающего танца... Понятно, Рита замужем, хотя, кажется, не совсем удачно. Но в то же время она была человеком, знавшим, как вести себя в любой ситуации, имела свой взгляд на все, в том числе умела оценивать и свое поведение, знала, как далеко можно заходить в тех или иных жизненных ситуациях, в то время как он, Энно, так часто бывал неуверен в себе, не умел сделать выбор, молчал, когда нужно было сказать свое решающее слово, позволял событиям и случаю вести себя за собой.

Он должен был признаться себе, что за эти несколько дней он положил глаз на нескольких девиц в институте, в том числе на Валентину, которая была на несколько лет моложе его, невысокую и хрупкую. Из-за сходства с одной кинодивой он прозвал ее Макагоновой. Невзирая на то, что еще так хорошо помнил Асю, ее небольшой рот и крошечное личико, и то, как она удалялась по бетонному полю аэродрома. Невзирая ни на что, ты, Энно Пооднек, весьма легкомысленный человек! Сказал он сам себе... Вот такие мысли и фразы промелькнули в его голове, когда он вслушивался в смех Риты, и им обоим было так хорошо. (И он не мог представить, что еще может произойти между ним и Ритой, если им доведется пробыть вместе всю эту праздничную ночь до конца. Потому что нежное, неискушенное - так, во всяком случае, хотелось думать Энно, хотя Рита и была замужем, - источающее аромат, такое влекущее и чувственное тело становилось все притягательнее, и мгновениями он чувствовал, что не может перед ним устоять, и уже во время танца его охватило какое-то безумие, и он не знал, что сделают его руки в следующее мгновение... А возможно, он просто опьянел от шампанского, оттого что оказался на твердой земле и за границей!)

Когда оркестр стал уходить и потушили часть огней, они с Ритой обнаружили, что они единственная оставшаяся пара среди зала. Стоя каждый в своем углу лифта, они смотрели друг на друга с сияющими лицами, словно нашли для своих отношений новую форму. Рита напевала какую-то песню, мешая русские и английские слова, Энно готов был назвать своей спутнице-химику - формулу, которая вот-вот должна была прийти ему на память.

На улице они остановились под козырьком дома из стекла, глядя на огни первого этажа, уходившие дальше, в глубь гигантского аквариума - там они были во второй

половине дня, до банкета, и Энно чувствовал себя как бы спутником капитана Немо. Во всяком случае, теперь он знал, сколь богата жизнь в глубинах холодного Норвежского моря.

Потом он вспомнил нечто важное, то, что он хотел сказать именно Рите: “Знаешь, Рита, а ведь здесь было первое место работы Фритьофа Нансена... Он написал здесь свою первую работу, про мизостомы... Тогда еще не было этого удивительного здания, но какое-то строение стояло. Мне кажется, что на этом самом месте, потому что лучшего места в Бергене не сыскать...”

“Милый, откуда тебе это известно?” - прошептала Рита, все еще настроенная на праздничную волну.

“...и здесь, в институте моря, он познакомился со своей Евой. Ты знаешь, ведь он женился на дочери самого Мишеля Сарса. Этого знаменитого зоолога, именем которого назван норвежский корабль, который мы завтра посетим...”

“Да нет, это мы с тобой Нансен и Ева... Разве не так?” - продолжала Рита на своей волне, ухватив неожиданно Энно под руку. А почему бы и нет? Ведь у Фритьофа были такие же светлые волосы, как и у Энно. К сожалению, Нансен довольно рано стал лысеть и вскоре обрел сократовский лоб.

Они направились в сторону порта, и тут выяснилось, что бергенская белая летняя ночь незаметно перешла в рассвет, а начавшийся в полночь дождь прошел, и воздух стал тяжелым и влажным, портовые и судовые огни стали расплывчатыми и обрели маслянистый оттенок, а сам город все больше напоминал музей, сулящий открытия. Они направлялись к порту, чтобы подняться на свое судно, но почему-то оказались в ганзейском квартале с сырыми деревянными тротуарами, им перебежал дорогу кот. Рита вскрикнула и ухватилась за руку Энно, отказываясь идти дальше. И они развернулись и пошли назад, потому что им было все равно куда идти.

Энно вторую половину дня провел с Мальвой, терпеливо снуг по магазинам, и ему не хватало ощущения этого города.

И он зажмурил глаза - чтобы настроиться на волну своего воображения. Вот сейчас, вот-вот ему это удастся... Восемьдесят лет назад, здесь же... И это они... Ева и Фритьоф, только что состоялась их помолвка, и они выходят из городской ратуши.

“Смотри, там наша фотография!” - прервала его мысли Рита.

Они остановились перед витриной фотоателье. Там была книга, на ее обложке надпись “Лив Хойр-Нансен”, а на фото двое в лыжных костюмах.

“О, Рита, хочешь, расскажу историю этой фотографии? Ева и Фритьоф довольно часто отправлялись в гору покататься на лыжах; думаю, что и вместо свадебного путешествия они пошли в горы. Но эта фотография - подделка, удачный монтаж. Она сделана в ателье Зачинского, возможно, в этом самом доме, за этим же окном, где-то около 1890 года. Так, по крайней мере, написано внизу на снимке... Я бы не удивился, если б они в этом ателье облачились в теплые лыжные костюмы и надели лыжи, а снег заменяла вата, и все это на фоне изображения заснеженных гор...”

“Только мы с тобой никакая не подделка, мы настоящие”, - пропела Рита, притворяясь пьянее, чем была на самом деле.

Затем на их пути стали попадаться бронзовые мужчины, среди которых затесалась и одна женщина - первым был, естественно, стоявший на высоком постаменте Хольберг, далее у городского театра величаво застыл Ибсен, а по другую сторону обвитого плющом театра Нордал Григ, разделивший судьбу Сент-Экзюпери, потом на невысоком холме Амалия Скрам, а в конце спускавшейся вниз длинной аллеи Оле Булл, норвежский Паганини. Только Нансена нигде не было.

Затем они подошли к очередному памятнику. Может быть, это - он?

“Тебя я знаю”, - протянула певучим голосом Рита и потянулась к руке композитора. И Энно пришлось придержать ее за талию. Рита тут же обернулась к Энно, и он смог одновременно смотреть на нее и на опиравшегося на палку человечка. Рита так смеялась и была в таком превосходном настроении, что у Энно впервые возник соблазн - немедленно ее поцеловать, как только она встанет на землю, хотя его затуманившийся рассудок умалчивал, что может за этим последовать...

Разумеется, то был Эдвард Григ. Всего полдня назад они были в Трольдхаугене, в его летнем доме неподалеку от города... Когда их автобус въехал на проложенную по краю скалистой стены дорогу, водитель включил магнитофон - Энно вроде бы узнал песню “Свадьба в Трольдхаугене”. Ну да, накануне путешествия он совершенно случайно купил книгу “Песни Грига” и внимательно прочел ее, даже подчеркнув некоторые места - там говорилось и о том, как рождалась эта песня, и о романтичес-

кой женьтьбе Грига, в чем-то схожей с историей Нансена и Евы...

На пороге белоснежного, какого-то необычайно воздушного дома Грига их поджидала девушка-гид в народном костюме красноватых тонов с белым кружевным передником. Переводчик их экспедиции Ким обменялся с ней, как со старой знакомой, дружеским поцелуем. Энно вдруг ощутил неловкость и скованность из-за слабого знания языка; все они, включая его спутников по плаванию, казались смущенными в выходной одежде, в которой Энно не привык их видеть. Только Ким со своим английским словно и сам был родом из этого мира. Мира с великолепными универмагами со стенами из стекла, пропитанными ароматами парфюмов Иды Рубинштейн, улицами, на которых росли вечнозеленые южные растения, причалами, с которых можно было ступить на белый морской трамвай и отправиться в Тронхейм, Ставангер или Олесунн. Энно мог бы перечислить массу вещей, которых ему не доводилось видеть ни разу в жизни.

Этот двухэтажный дом словно был предназначен не для обычной жизни, а для создания музыки. Теперь он казался умолкнувшим хранилищем музыки. Повсюду на стенах висели старые афиши и засохшие цветочные венки, некоторые столетней давности. Комнаты и впрямь отзывались как какой-то старинный инструмент. В углу гостиной стоял белый безмолвный рояль Грига, с которого снимали чехол всего два раза в году, в дни фестиваля Грига.

Мальва ни на шаг не отходила от Энно, однако захватывающий интерьер дома и любопытные экспонаты как бы сами собой отдалили их друг от друга, и снова они встретились внизу на берегу, куда спустились по лестнице с перилами из корявой норвежской горной сосны. На самом деле Трольдхауген не был холмом, как можно было подумать по его названию. Это был покрытый дерном скалистый мыс. И почти рядом с водой, в центре выступа скалы, среди пышно растущих в щелях скалы папоротников виднелась серая плита с именами “Нина и Эдвард Григ”. Это была их каменная могила.

Уже в который раз поднявшийся на волну романтического воображения Энно еще в доме Грига почувствовал, что забыл обо всем и обо всех; им целиком завладели флюиды этого живописного места. Он фотографировал дом, потом холм с разных ракурсов, каменную могилу, папоротники, каменистый мол с видом на заливчик. Не забыл при этом сорвать на память лист папоротника,

поспешно вложив его в блокнот. Понятно, ему хотелось взять с собой всю эту атмосферу, включая слова и мелодию “Свадьбы в Трольдхаугене”, исходившие из проигрывателя в автобусе, и еще многое, но сделать это было невозможно.

(Позднее Энно внимательно изучил свои фотографии, надеясь найти в них какие-то детали, которые ему не удалось заметить и осознать на месте. И он кое-что нашел - вся их группа пыталась уместиться на лодочном причале у дома Грига, а точнее, на округлом валуне, и гидробиолог из Норвегии в элегантном сером костюме поддерживал именно Риту, соскальзывавшую с камня и оказавшуюся в своем темном платье и белыми бусами центральной фигурой группы, в то время как Мальва и второй гидробиолог, Ксения, стояли в отдалении на берегу - одна нагнулась, что-то подбирая, вторая (Мальва) с укором смотрела на фотографа, которому следовало бы лучше других понять, что она осталась в стороне.)

Но сейчас была уже ночь, и дом Грига отдыхал в ожидании новых гостей. Энно помог Рите спуститься с пьедестала, забыв о только что данном себе обещании. Он вдруг вспомнил Марека, да, именно Марека - где же тот был весь день и весь вечер? Энно ни разу за весь день не перемолвился с ним и словом, да и видел ли он его? Во всяком случае, не фотографировал, хотя и обещал это сделать! И где был Марек во время банкета, остался ли он танцевать? Или ему не понравилось это мероприятие и он покинул банкет довольно рано вместе с руководителем экспедиции и командой судна? Энно на мгновение ощутил неловкость, даже стыд. Вместо того чтобы быть со всеми на корабле, он разгуливает по незнакомому городу с Ритой.

Он глянул на куражившуюся Риту и отбросил в сторону эти мимолетные мысли. Ну и что с того, ведь они взрослые люди, и могут вести себя так, как им хочется. Однако некое крошечное чувство вины продолжало терзать его, словно пытаясь отогнать какие-то навязчивые мысли.

Как же он мог не встретить за все эти дни в институте Риту, а замечал лишь молоденьких, только что из школы, лаборанток и младших научных сотрудниц..? Или же было достаточно мимолетной встречи в коридорах для того, чтобы действительно ее узнать? Экспедиция словно выбрала их четверых и свела их на этой малой планете, имя которой случайно совпало с именем знаменитого норвежца. И им суждено провести вместе сорок шесть

дней - именно столько длится, в среднем, океанографическая экспедиция, хотя по исчислению времени мореходами это весьма короткий срок, чтобы соскучиться по земле.

“Ты и правда славный парень, это мне и девчата говорили”, - произнесла Рита внезапно изменившимся голосом и прижалась на мгновение всем своим тяжелым телом к Энно, словно проверяя его “мужскую выносливость” - по словам самой Риты.

“Признаюсь, я сперва и не поняла, о ком они говорят... Странно, что я тебя ни разу не встретила в институте”, - продолжала Рита уже своим обычным голосом, словно опьянение накатывалось на нее волнами.

Твоя солидность вызвала бы во мне только уважение, и не более, хотел сказать Энно. Но польщенный столь благожелательной характеристикой, он сумел лишь спросить:

“То есть... а что еще они обо мне говорили..?”

“Да ничего, просто женский треп, как всегда, когда появляется новый человек... Ты же для нас в какой-то мере иностранец...”

И затем совершенно естественно прижалась к плечу Энно, хотя знала не хуже Энно, как ревнив его сосед по каюте. Точно так же Рита могла и его спросить - расскажешь ли ты об этом Мареку, своему соседу по каюте, которого я и сегодня не заметила и с которым мы ни разу не столкнулись во время экспедиции - и вот теперь, когда он, наконец, женился... Но никого из них, тем более никого с корабля, невозможно было встретить в этом ночном городе, в этом другом мире, куда они попали по воле случая. И им обоим было так хорошо, так тепло, оба они были слегка пьяны. И вдруг исчезла разделявшая их из-за замужества Риты стена, из-за того, что она гордость лаборатории, на которую так надеется Монин. Энно понял, что эта ночь принадлежит им, что им принадлежит весь Берген. И еще нечто неуловимое - Энно казалось, что сколько бы они сегодня ночью ни ходили по городу, они все равно не смогут унести это с собой, взять с собой навсегда.

*Перевела с эстонского
Татьяна ТЕППЕ*

Татьяна Теппе - филолог, переводчица современной эстонской прозы.



Между ночью и днем по дороге домой через пляж
Ты наступаешь на большие камни, покрытые тиной,
Лежащие на кромке у самой воды.
И купаясь при свете луны, повернувшись ко мне спиной,
ссышь в море.
Со звуком чистым звенящим и с эхом того времени,
Когда мальчишки дымящейся желтой струей писали свои имена
на снегу,
И мы, раскачиваясь на качелях, отвечали еще большей
сверкающей струей,
С летящими брызгами,
И позже, поддаваясь, захватывали друг друга в плен.
В глазах рябило от сумасшедшего блаженства - и
Чувства наполнили так, как сильный ливень барабанит по озеру.
А потом наблюдали странно растущие раскрепощенные сорняки:
Яснотки и каприфоли в огромном количестве там,
Где мы, окутанные матафизическим мокрым светом,
Тайно оставляли наши сладко пахнущие метки.

Свист

Зеленые капли на лесном ковре
После дождя, капли у музыки и в волосах девственницы,
Высокая трава, сырое лето,
Где у птицы гнездо и у лисы нора.
Свистит в деревьях, свистит у меня в голове,
Переливается, льет как из ведра, холодно, тепло, холодно,
Капли на листьях, сверкает, мигает,
Когда дотрагиваюсь до мокрого, ветви трясутся,
Распространяют сияние, все такое блестящее,
Оно исходит и от меня, но тусклым сиянием,
Я открываю рот, высовываю язык,
Чувствую сырость света звезд,
Свистит в деревьях, свистит у меня в голове,
Высокое лето, пересохшие травы,
Твой "мокродождевой" вкус, твой сырой липкий, пахнущий дождь
Идет на дно в темной горячей зелени,
И клином птицы поднимаются высоко над деревьями.

Серп

Нет, это не такой секрет, как тот, что скрывается
За закрытыми глазами спящего, не заумный шифр, -
Долгий запрет отравляет, - переданный родителями
Или родителями родителей на их смертном одре.
Это вибрация в жилах, рожденная хроническим беспокойством, она
пробуждает отзвуки этим летним днем,

Когда ветер улегся и дикие запахи все еще качающихся
кустов и цветов
Невесомо бьют по корням в теплом воздухе.
Это сила и анти-сила, оживленная боль,
Внутренняя интифада, каменный век ума, я захвачена
Сама собою в ловушку, потому что не думаю за
Противоударным стеклом, когда я иду в направлении,
По которому каждый только сам мог бы пойти, когда я бужу
по-королевски богатый язык,
Нахожу в лабиринте дорогу, двигаясь через мосты или
через туннели,
Путешествую к самым дальним границам, прохожу
Самыми невообразимыми тропами,
И подаю голос - остальное теряю словно кровь из открытой
фиолетовой вены;
Земля все притягивает к себе и впивает, и после этого сыро
пахнет дождем.
Над словами радуга ставит свой светящийся серп.

*Перевела с датского
Мария КАШИНА*

Пиа Тафдруп (1952, Копенгаген) известная датская поэтесса, переводчик, драматург. Творческую деятельность начала в 1980 году, опубликовав свою первую поэму, и с тех пор издала 11 поэтических сборников. Активный участник международных литературных и поэтических форумов, лауреат престижных конкурсов, обладатель ряда международных призов (последний - Северный Приз 2006 - она получила от Шведской Академии). Автор романа "Капитуляция" (2004), двух постановок, либретто к танцевальному спектаклю "Город Висо" (1999), редактор двух антологий датской поэзии (1982 и 1985). В 1989 году Пиа Тафдруп избрана членом Датской литературной Академии. Переведена более чем на двадцать языков мира (в том числе и на русский), английские версии ее поэмы опубликованы более чем в сорока литературных журналах США, Англии, Канады и Австралии. Посетила 39 государств, в том числе Россию (1990) и Эстонию (2003).

Мария Кашина (1979, Таллинн). Училась в Силламяэском институте экономики и управления. С 1998 года учится и работает в Дании (Копенгаген).



Историю “Вестника” невозможно рассматривать саму по себе. Она неразрывно связана с историей Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД) и парижского издательства “YMCA-Press”.

И движение, и издательство, и “Вестник” созданы не “на пустом месте”. Все они имеют свою предысторию.

Предыстория движения - это деятельность в России Христианского союза молодых людей (YMCA), духовно-просветительские организации “Маяк” и отдельные молодежные христианские кружки, которые начали складываться в начале 1920-х годов в различных местах русского рассеяния под руководством старших, духовно опытных лиц (так называемых “профессоров”).

Предыстория издательства - это довольно многочисленные книги на русском языке, опубликованные в конце 1910-х - начале 1920-х под эгидой международного “имковского” издательства “Association Press”.

Наконец, предыстория “Вестника” - это журнал “Духовный мир студенчества”, который издавался в 1923-1925 при финансовой поддержке ассоциации YMCA (всего вышло из печати 5 номеров).

Все три исторических процесса шли параллельно, во

Гуревич Александр Львович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, исследователь истории религиозного движения Русского Зарубежья. В основе статьи его доклад на конференции “Православие и русское общество в начале III тысячелетия. К 80-летию “Вестника Русского Христианского Движения” (7-8 декабря 2005 г., Библиотека-фонд “Русское Зарубежье” (Москва).

многим пересекаясь друг с другом, то отдаляясь, то сближаясь, причем именно “Вестник” многие годы был своеобразным связующим звеном между движением и издательством.

Датой основания Русского Студенческого Христианского Движения является октябрь 1923 года, когда в Чехословакии, в местечке Пшеров близ Праги, был созван первый общий съезд. Этот съезд имел особое значение, и долголетний председатель движения прот. Василий Зеньковский очень точно назвал его “Пятидесятницей русской эмиграции”¹. Он подчеркивал, что “на съезде служилась литургия каждый день, и это навсегда закрепило литургический характер наших съездов”². Многие из участников съезда причастились впервые с дореволюционных времен. Этот огромный духовный толчок впоследствии еще долгие годы питал движение.

Первоначально было основано в 1923 году в Праге “The YMCA-Press Ltd. - Американское издательство”. Уже с этого времени, наряду с учебниками и другой образовательной и просветительской литературой, оно начало публиковать оригинальные православные труды и “утвердило себя как православное общекультурное издательство”³. Авторами сборника статей “Проблемы русского православного сознания” были выдающиеся богословы, религиозные философы и мыслители Н. С. Арсеньев, Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зеньковский, Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, С. Л. Франк.

Значительную роль в основании и становлении издательства сыграл сотрудник американской ассоциации YMCA Пол Андерсон (1894-1985), которого во Франции звали Поль, а русские эмигранты - Павел Францевич. Очень немногие лица, не имевшие русского происхождения и оказывавшие содействие русской эмиграции, удостоивались этой чести. Почти всю свою жизнь Поль Андерсон посвятил работе с русской эмиграцией и принимал активное участие в деятельности издательства “YMCA-Press”. После его смерти здесь воздвигли ему своеобразный памятник, выпустив в 1985 году на английском языке его замечательную книгу воспоминаний “No East or West”.

Эта фраза “No East or West” - “Ни Востока, ни Запада” возвращает нас к словам святого апостола Павла из послания к колоссянам: *...где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос* (Кол. 3: 11). Эта фраза стала основным девизом всей жизни Поля Андерсона.

В юбилейный год 80-летия “Вестника” нельзя не отметить огромный вклад этого замечательного человека не то-

лько в духовное становление русской эмиграции, но и в религиозное возрождение современной России.

В 1924 году издательство по экономическим соображениям перемещается в Берлин, а в 1925 - в Париж.

С 1925 центральные органы Русского Студенческого Христианского Движения также “получают свою прописку” в Париже, и в том же году по инициативе секретаря движения Н.М. Зернова выходит первый, тогда еще машинописный, номер “Вестника”. В те годы журнал носил название “Вестник Русского Студенческого Христианского Движения в Западной Европе”, затем оно несколько раз менялось, пока не утвердилось общеизвестное - “Вестник Русского Студенческого Христианского Движения”.

Н.М. Зернов вспоминал впоследствии, что перед началом издания “Вестника” он обратился ко многим друзьям движения с просьбой предложить оригинальное название журнала. На просьбу Зернова откликнулся, в частности, видный русский эмигрантский писатель-мистик А.М. Ремизов, который предложил назвать журнал “Барабан духовный”. Впоследствии Н.М. Зернов сожалел, что не решился последовать этому совету⁴.

Первый типографский номер “Вестника” вышел в конце 1926 г. (октябрь). С этого времени и до сегодняшнего дня “Вестник” почти неразрывно связан с издательством “YMCA-Press”.

Первоначально и движение, и издательство “YMCA-Press” помещались в Париже по адресу: бульвар Монпарнас, 10. Активный член РСХД С.С. Куломзина (1903-2000) в своих воспоминаниях ярко характеризует атмосферу 1920-х гг.: “В доме № 10 на бульваре Монпарнас, в котором размещалась наша организация, кипела жизнь. На первом этаже этого здания, принадлежащего ИМКА, находились издательство “ИМКА-Пресс” и курсы заочного обучения. Другие этажи занимали Русское студенческое христианское движение, Религиозно-философская академия, Религиозно-педагогический кабинет протоиерея отца Василия Зеньковского, студенческие кружки, руководимая мною воскресно-четверговая школа, организация мальчиков “Витязи” под руководством Н.Ф. Федорова и организация девочек “Дружинницы”, созданная А.Ф. Шумкиной, заочные курсы Закона Божия и русского языка, для многочисленных русских семей, разбросанных по разным уголкам Европы и Северной Африки. Во дворе дома, в бывшем гараже, была устроена церковь, где ежедневно отцом Сергием Четвериковым - духовным руководителем РСХД - совершались богослужения. Здесь же велась подготовка к выезду в наши летние лагеря. Дом на

бульваре Монпарнас был также центром начавшегося тогда движения французского православия. По воскресеньям в зале, где обычно читали лекции или проводили занятия школы, совершались богослужения на французском языке”⁵.

Однако уже в первой половине 1930-х “YMCA-Press” и движение территориально разделяются. “YMCA-Press” совместно с рядом других русскоязычных эмигрантских издательств учредило книготорговое объединение - “Товарищество объединенных издательств” (“Les Editeurs reunis”), основной задачей которого являлось оказание содействия в распространении литературы (преимущественно на русском языке). В Париже открылся книжный магазин, в котором можно было приобрести русскоязычную литературу. П. Андерсон становится директором объединения. Первоначально товарищество “Les Editeurs reunis” располагалось по адресу: ул. Давьель, 6.⁶

В 1936 году Русское студенческое христианское движение переместилось на улицу Оливье де Серр, 91 (сюда была также перенесена церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы при РСХД, богослужения в которой совершаются до сего дня), а издательство и книготорговое объединение - на улицу Сен-Дидье, 29. В 1961 году издательство приобретает помещение в Латинском квартале на улице Монтань-Сент-Женевьев, 11. Там же открывается прекрасный магазин русской книги, существующий и по сей день.

Формально издательство находилось под эгидой РСХД, но фактически оно относительно самостоятельно определяло свою программу и источники финансирования. В исполнительный комитет издательства обычно входили 3 “движенца” и 2 “имковца”.

Безусловно, издательство в значительно большей степени, чем движение, нуждалось в финансировании. Русская эмиграция в целом была довольно бедна и не могла самостоятельно содержать его. Многие издания, необходимые для духовного становления русской эмиграции, были убыточными. Не давал большой прибыли и “Вестник”.

Для поддержания деятельности издательства огромное значение имела финансовая помощь со стороны YMCA и ряда других благотворительных организаций. Может быть, именно поэтому сохранилось название “YMCA-Press”. Даже после окончания Второй мировой войны, когда финансовая поддержка со стороны YMCA свелась до минимума, а затем полностью прекратилась, издательство не стало менять своей “вывески”.

Перед войной в связи с большими политическими и финансовыми трудностями “Вестник” издавался нерегулярно.

С № 11-12 за 1933 год журнал начинает печататься в Эстонии, в Тарту, редактором “Вестника” становится видный деятель РСХД И.А. Лаговский,* занимавшийся в те годы церковным служением в Прибалтике. В 1936 вышел только № 1-2 вместо предполагавшихся 12, в 1937 - 12 номеров в пяти выпусках, а в 1938 - всего 5 номеров. С начала 1937 в качестве редактора указывался председатель РСХД В.В. Зенковский, живший в Париже, хотя всю основную работу по изданию журнала продолжал осуществлять И.А. Лаговский. Фамилия Лаговского как редактора в выходных данных журнала перестала упоминаться - отчасти из-за смиренной скромности Ивана Аркадьевича, отчасти по политическим соображениям (отношение эстонских властей к русским эмигрантам в те годы было весьма настороженным).

Эстонские выпуски “Вестника” были благословлены активным участием в их подготовке преподобномученицы матери Марии (Скобцовой), великой подвижницы, недавно причисленной Православной Церковью к лику святых.

Накануне Второй мировой войны тираж журнала возрос до 5000 экземпляров.

В 1939 году удалось выпустить только два номера “Вестника”. Причем последний предвоенный номер погиб при пожаре в эстонской типографии в Петсери (Печерах), когда выгорела треть города. Стоимость сгоревшего тиража не была возмещена, но благодаря титаническим усилиям редакции удалось напечатать этот выпуск снова в увеличенном размере и с приложением “Экуменического листка”⁷⁷. Однако продолжить публикацию “Вестника” уже не удалось.

Во время войны издание журнала было прекращено.

Вскоре после окончания войны, в 1949 году, “Вестник” был возобновлен - сначала протоиереем Александром Киселевым в Германии, а затем редакция журнала вернулась в Париж, и публикация его издательством “YMCA-Press” продолжилась.

Журнал начинает выходить реже - сначала 6 раз, а затем 2-3 раза в год, но становится толще, содержательнее. Все

* И.А. Лаговский (1889) вместе с остатками армии Врангеля бежал за рубеж. С 1926 преподаватель Русского Богословского института в Париже, активный участник Движения. В 1930 женился на тартуской движенке Тамаре Божаницкой, и через три с половиной года, вернувшись из Парижа, они стали вместе издавать “Вестник” в Эстонии. Осенью 40-го, после ввода в Эстонию советских войск, Лаговский арестован, а 3 июля 1941-го расстрелян. 4 июля в долгий этап по лагерям и ссылкам отправлена Т.П. Лаговская. Подробно об этом в мемуарах Тамары Милютиной (по второму мужу) “Люди моей жизни” (Тарту, Крипта, 1997). На юбилее “Вестника” в Москве (начало декабря 2005 года) его бессменный редактор Никита Алексеевич Струве сказал, что мечтает написать книгу о Лаговском - такой это был замечательный человек. - Прим. ред.

больше печатается богословских, публицистических и искусствоведческих трудов, все большее место предоставляется авторам из советской России, работы которых передаются на Запад подпольным путем. “Железный занавес” еще не рухнул, но в нем уже образовались значительные прорехи.

Советские идеологи считали издательство “YMCA-Press” одним из основных врагов советской власти в эмиграции. Так, в юбилейном 100-м номере “Вестника” был опубликован отрывок из советской пропагандистской брошюры “Религия в идеологической борьбе” (М., 1970)⁸, где, в частности, отмечается, что “было бы неверно недооценивать возможность тлетворного влияния работ представителей русской религиозно-идеалистической философии [Имелись в виду авторы “Вестника”. - Прим. А.Г.] на сознание людей... А практика деятельности РСХД подтверждает мысль о том, что руководители “движения” давно поставили его на службу тем реакционным кругам, которые не прекращают операций “психологической войны” против СССР, осуществляют идеологические диверсии против нашей страны”⁹.

Основная цель издательства, движения и журнала, как нам представляется, - служение России. Просвещенный патриотизм и любовь к России являются неотъемлемой частью их мировоззрения. Многие помнили Россию, другие, родившиеся уже в эмиграции, по меткому выражению протопресвитера Александра Шмемана, “знали” о ней. Патриотизм и любовь к России находили свое выражение в сохранении русского языка, изучении истории и современного состояния России и русской культуры. Этому способствовали проводившиеся во второй половине 1920-х гг. семинары “Христианство и марксизм”, по истории русской религиозной мысли XIX в. под руководством Н. А. Бердяева и кружок по изучению России, в котором активное участие принимала мать Мария, а также непрерывные размышления о судьбах России и причинах русской революции, приумножение духовных богатств православия для возвращения их посткоммунистической России, посильная помощь и поддержка всех сил доброй воли в СССР.

И эту высокую патриотическую цель все они старались достойно пронести сквозь десятилетия изгнания.

Более того, можно сказать, что связь с Россией, служение ей придавали движению, издательству и журналу новые силы, которые, казалось, уже подходили к концу.

Период оживления деятельности движения в 1960-х гг. был тесно связан с Россией. В 1961-м один из ведущих деятелей движения Кирилл Александрович Ельчанинов посетил Советскую Россию. Он встретил там огромную духовную

жажду. И, возвратившись во Францию, приложил все усилия для организации специального фонда “Помощь верующим в России”, главной задачей которого была переправка русской религиозной литературы в СССР. В настоящее время дело, основанное К.А. Ельчаниновым, успешно продолжает его сын Александр Кириллович.

Как отмечает видный исследователь истории РСХД А.И. Кырлежев, такое изменение деятельности движения, по существу, меняло всю ситуацию. “Движение обрело новое вдохновение, как будто утрачиваемое в послевоенный период. Работа “отцов”, ориентированная на “возвращение”, в новых условиях, казалось бы, тотального господства коммунизма на Востоке Европы оказалась не напрасной. Эмигрантское начинание, все больше работающее “на себя” или, в лучшем случае на “западное православие”, снова приобрело черты великого русского дела”¹⁰.

Обновление деятельности издательства “YMCA-Press” в 1970-е годы связано с публикацией произведений А.И. Солженицына, тогда еще находившегося в СССР. Солженицын передал сюда права на издание всех своих произведений. Рукописи, написанные Солженицыным в России, были тайно вывезены в Париж. Публикации трехтомного “Архипелага ГУЛАГ” и многотомного “Красного колеса” придали издательству “второе дыхание”.

Как отмечает Н.А. Струве,^{*} первый том “Архипелага” издавался в строгой тайне, поистине “с религиозным трепетом”. Выход книги 28 декабря 1973 года произвел эффект “разорвавшейся бомбы”. Позднее Струве вспоминал: “Книга-событие - каких бывает по одной в век - поставила издательство в центр мирового внимания. Первый том достиг в несколько недель небывалого за всю историю русской эмиг-

** Никита Алексеевич Струве (1931, Париж), профессор русской литературы (Сорбонна, Нантер, 1958-2000), редактор журнала “Вестник РХД”, директор издательства “ИМКА-Пресс”, весной 1994 года побывал в Эстонии с выставкой ранее запретной философской, исторической и религиозной “имковской” литературы. В Национальной библиотеке Эстонии (одна из сторон-организаторов наряду с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы, Эстонским культурным центром “Русская энциклопедия” и министерствами культуры Эстонии и России) Н.А. Струве прочел лекцию об авторе “Архипелага”, как раз собиравшемся вернуться “домой”, а в Тартуском университете - о философе Г.П. Федотове. В Тарту навестил Тамару Павловну Милютину (Лаговскую). Неоднократно помогал ее семье материально (другим движенцам тоже; позже такую поддержку стал оказывать фонд А.И. Солженицына). Прекрасный публицист, Никита Струве каждый “Вестник” обязательно открывает-освещает своим взглядом на самую острую проблему современного православия, в России или за рубежом. Он принял непосредственное участие в подготовке к публикации “Дневников” протопресвитера Александра Шмемана (Москва, “Русский путь” 2005), о чем мы расскажем в ближайшем номере “Вышгорода”. - Ред.*

рации тиража (и с тех пор, конечно, не превзойденного): 50.000 экземпляров. Его покупали даже те, кто не читал или почти не читал по-русски, как предмет, как реликвию”¹¹.

С Россией связано и духовное возрождение журнала.

Тесные взаимоотношения “Вестника” с Россией начали развиваться уже в конце 1960-х. Первоначально в журнал из советской России присылали отдельные материалы (активное участие в собирании и отправке в этот период принимал Е.В. Барабанов). Некоторые номера (например, № 97 за 1970 год, посвященный религиозно-политическому положению и грядущим судьбам России) были почти полностью составлены в СССР. Российские авторы по политическим соображениям печатались под псевдонимами, причем для каждой следующей публикации выбирали новый псевдоним, чтобы, по возможности, избежать преследований со стороны советских властей. Эта история сбора и передачи текстов и сведений на Запад, а “Вестника” и других изданий “YMCA-Press” в СССР пока еще не написана и ждет своих исследователей (известны лишь свидетельства отдельных людей, рисквавших своей жизнью для прорыва “железного занавеса”).

Развитие взаимоотношений с Россией вызывало необходимость качественных изменений в самом журнале.

Поводом для этих изменений стала публикация в журнале в 1973 году большого открытого письма читателя из России “Опыт духовной утопии”¹² (имя автора было скрыто под инициалами “ХУ”; скорее всего за ними стоял известный российский правозащитник, философ и публицист Б.И. Шрагин, позднее эмигрировавший в США).

Автор письма, представившийся москвичом, подчеркивает большое значение журнала для современной России и призывает редакцию более ориентировать журнал на культурного российского читателя. “Вообразите нынешнего московского интеллигента..., потенциального Вашего автора, который впервые берет в руки Ваш журнал. Почувствует ли он его сразу с в о и м ? - Едва ли. При чем тут студенчество? - вот первый его вопрос. Ведь скорее всего он вышел из этого счастливого возраста. Да и богословская направленность основного корпуса журнала далеко не всякому у нас здесь близка”¹³.

Письмо читателя ХУ вызвало живой отклик у редактора журнала Н. А. Струве и у авторитетного автора издательства “YMCA-Press” А.И. Солженицына. Струве отозвался на вышеупомянутое открытое письмо статьей “Утопия или маниловщина? Ответ на письмо из России”, в которой подчеркивается: “Фактически, в теперешнем своем облики, Вестник

не является уже органом РСХД в прямом смысле. Само движение, недавно отпраздновавшее свое 50-летие, свелось к небольшой, хотя и активной группировке во Франции при поддержке многих членов и друзей, рассеянных по всему свету¹⁴. В то же время Н.А. Струве категорически отрицал необходимость полного отделения от РСХД. Он отметил, в частности, что «РСХД не только и не столько организация, сколько символ и знамя... Упразднить тесную связь между Вестником и РСХД - это не только лишить его той среды, на которую он опирается..., но и уничтожить тот идейный стержень, на котором он держится»¹⁵. Струве также отверг просьбу «читателя ХУ» изменить главную линию «Вестника»: «Православное направление журнала Вы предлагаете растворить в некую общую, необязательную религиозность... Разумеется, с этой точкой зрения мы никак не можем согласиться. Плюрализм ради плюрализма, ради наиболее широкого охвата читателей, таит в себе большую опасность, он граничит с беспринципностью»¹⁶. В том же номере журнала появилась небольшая реплика А. И. Солженицына, в которой он предлагает «читателю ХУ» не требовать изменений от известного журнала, но «жить не теряя достоинства»¹⁷.

Начиная с номера 112-113 (1974) «Вестник» стал выходить под названием «Вестник Русского Христианского Движения», с указанием мест издания «Париж - Нью-Йорк - Москва» (сокращенно - «Вестник РХД») ¹⁸. Редактор «Вестника» Н.А. Струве так объяснил это изменение: «За последние годы, в частности начиная с 97-го номера, ВЕСТНИК перестал быть органом Русского Студенческого Христианского Движения в прямом и узком смысле, если понимать под движением не направление, не идею, не духовную семью, а организацию. В юбилейном сотом номере 9/10 статей еще были написаны на Западе старыми эмигрантами или их отпрысками; в 111-ом номере пропорция ровно обратная: 9/10 статей написаны в России или совсем недавними выходцами из нее... Опускание слова «студенческий» отнюдь не означает, что ВЕСТНИК в какой бы то мере отходит от РСХД и его идеалов: по-прежнему РСХД будет его издавать, направлять, вдохновлять. Однако в буквальном смысле журнал является *вестником* чего-то большего, чем заслуженной религиозной организации, *вестником* неоформленного «русского христианского движения», с особой силой развивающегося в России»¹⁹.

Кроме того, были внесены принципиальные, по мнению Н.А. Струве, изменения в адрес издания журнала. Наряду с традиционным ПАРИЖЕМ, где находилась редакция журнала, отныне указаны также НЬЮ-ЙОРК (имелась в виду Свя-

то-Владимирская семинария, куда уехали преподавать многие богословы “парижской школы” и, в частности, один из двух заместителей председателя РСХД протоиерей Александр Шмеман, поддержавший в тот момент совершавшиеся изменения в издательстве “YMCA-Press”), а также МОСКВА (в ее символическом значении), как “место стихийного религиозного возрождения, метущегося в условиях несвободы, ищущего общения с Западом, и уже этому же Западу свидетельствующего о своей напряженной вере и жажде подлинной духовности”, как место “будущего религиозного возрождения”²⁰.

Симптоматично, что “Вестник” и, в значительной мере, издательство в настоящее время переместились в Россию. Как отметил Н.А. Струве, “журнал делается в Париже, тиражируется в Москве, и около 80 процентов сотрудников находятся в России”.

Итак, подводя общий итог 80-летней деятельности “Вестника” и 82-летней деятельности издательства и движения, можно утверждать, что, несмотря на все трудности, несмотря на все внутренние противоречия, которых невозможно было избежать, активисты движения, сотрудники издательства и журнала не щадили своих сил для возрождения новой, свободной и духовной России, и в этом освобождении России от ига коммунизма есть немалый вклад сегодняшних юбиляров.

Хотелось бы вспомнить тропарь праздника Преображения: “Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху; да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе”. Обратим внимание на слова “якоже можаху” - “насколько могли воспринять”.

К сожалению, современная Россия пока еще не смогла воспринять в полноте тот духовный потенциал, который заложен в почти 190 номерах журнала. Но будем надеяться, что это время придет, и это станет лучшей наградой всем тем людям, кто издавал, редактировал, писал статьи и распространял “Вестник” в течение многих лет.

¹ Струве Н. А. *РСХД как пророческое явление в Церкви // Вестник Русского Христианского Движения. 2003. № 185. С. 330 (далее - Вестник РХД).*

² Зеньковский Василий, прот. *Русское Студенческое Христианское Движение: История, деятельность, задачи // Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. 1949. № 7-8. С. 5 (далее - Вестник РСХД).*

³ *Les Editeurs reunis: Каталог русских книг зарубежных изданий: 1990-1991. Париж: YMCA-Press, [1991]. С. 5.*

4 За рубежом: Белград-Париж-Оксфорд: (Хроника семьи Зерновых) (1921 - 1972) / Под ред. Н.М. и М.В. Зерновых. Paris: YMCA-Press, 1973. С. 146.

5 Куломзина С. С. Миры за мирами: Воспоминания русской эмигрантки. М.: ПСТБИ, 2000. С. 140-141.

6 Карташев А. В., Струве Н. А. 70 лет издательства "YMCA-Press": 1920-1990. Париж: YMCA-Press, 1990. С. 28; Anderson P.V. No East or West. Paris: YMCA-Press, 1985. P. 59-60; Русское Зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни: 1920-1940: Франция. Т. 3. Париж: YMCA-Press, 1996. С. 76.

7 Голубкова Н. Вестник Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД) (1925-1939): Роспись содержания // Исследования по истории русской мысли: 2003. - М.: Модест Колеров, 2004. - С. 643-644.

8 См.: Вестник РСХД. 1971. № 100. С. 12-22.

9 Там же. С. 14, 17.

10 Кырлежев А. И. Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом: 1923-1998 (рукопись). - Архив автора.

11 Карташев А. В., Струве Н. А. 70 лет издательства "YMCA-Press". С. 30-31.

12 Вестник РСХД. 1973. № 108-110. С. 6-23.

13 Там же. С. 17.

14 Вестник РСХД. 1974. № 111. С. 4.

15 Там же. С. 4-5.

16 Там же. С. 5.

17 Там же. С. 7.

18 Необходимо подчеркнуть, что само Русское Студенческое Христианское Движение (РСХД) сохранило свое название до настоящего времени. Изменилось только название "Вестника" - вместо "Вестник РСХД" с 1974 г. он стал именоваться "Вестник РХД".

19 Струве Н. А. Еще о направлении журнала // Вестник РХД. - 1974. - № 112-113. С. 3.

20 Там же. С. 4.

**ЛЮБОМИР
ЗАНЕВ
ВМЕСТО
ФОТОГРАФИИ**

И вот я снова смотрю на себя в зеркало, откуда - что же еще! - за мной наблюдает моя собственная физиономия. Смотрю и слежу: может быть, дрогнет какой-то замерзший мускул, чувство какое-то согнется на протертом лице моем, мысль какая-то оставит более четкий отпечаток - от копыта, гнойного прыща или зубов доброго друга...

Эти старания напрасны, но они помогают мне осознать мое собственное нищенствование, мигом собрать чемодан и умчаться куда-то немислимо далеко от себя...

Чтобы встретить утро на рынке, стоящим за прилавком, на котором... распахнутый чемодан... набитый дорогими зимними цветами... отдаваемыми мною за бесценок... за надежду, соучастие или еще дешевле.

А в сущности я никогда не любил смотреть на себя в зеркало.

I. ОКНО

Родина

Спеленута неправды липкой пряжей,
и каждый рад щипнуть тебя во мраке,
блудя с тобой и именем тебя же.
Ты впрямь святá? А может, это враки?
Не есть ли суть твоя срамная голость -
Капкан, приманка, нищим неба кров?
...Иисус и Магомет молятся в голос
И предвкушают
Свеженькую
кровь.

Любомир Занев (1955) - болгарский филолог, поэт, переводчик. После окончания Софийского университета (1980) стал первым лектором-иностранцем в Таллинском, тогда еще педагогическом институте (1981), вернулся снова на несколько лет в 1996. У себя в Пловдиве учительствовал, возглавил общество переводчиков, с эстонского переводил многих поэтов, народный эпос и сказки. Печатался в журнале "Вышгород" 4-5, 99 (цикл "Три окна" в переложениях Бориса Балясного).

Моя ты совесть - стерва из пресветлых,
истерзана, страдаешь поминутно
по "чистоте республики святейшей",
и ил во рту тяжёл, и пена мутна.

Скажи: кому же в мире бедном, нищем
нужна другая, бóльшая награда?!
Сегодня кто подлее - тот и чище.
А человек...
Пусть. Да ищет ада!

Окно

Пред прозрачную преградой...
У стекла ли, за стеклом?
Вижу грань распада взгляда
между вечностью и сном.
Словно бабочка-ночница
бьюсь в стекло глазами я...

Как случилось заблудиться
посредине бытия?..

II. ЭСТОНИЯ

Сколько камней, боженька, на этой несчастной землице
эстонской,
ее души едва достает на то, чтобы накормить
и единственную травиночку!..
Один большой каменный корж, намазанный тонким
слоем крема - землей.
Будто кондитер-скупердяй решил поиздеваться над теми,
кто ожидает чего-то другого. Чего-то большего.
Кроме аромата свежей талой воды.

09.82

"День был до того коротким,
дышать было просто некогда..."
Я вспомнил, опёршись на локти,
стихи мои - писаны некогда.

Блаженство лениво подымет
в вихрь, в старых пристрастий круженье.
Я словно не меж живыми,
а грешный - и жду очищенья:

ведь время во мне растворило
вчерашние импульсы дня...
А ветром окно растворило
и шторку рвануло, подняв,

охапка листов полетела,
от ветра погасла свеча.
До локтя рука онемела.
Где был я? И где я сейчас?

Лара дух, ох ты, Лара дух.
Стыл очаг, не горят поленья.
Ожидаешь хозяйского, друг,
возвращенья.

Разве ведает Лара дух,
что хозяин закрыт, как зёрна
в райском плоде, как звук
страсти в горле?

Лара дух над золой молчит
без сна и покоя.
Глаз кровавый его в ночи
видел - снилось такое.

Подожди, Лар! Прости меня!
Веки смежь, я не предал.
Бродит жизнь моя соком дня,
я вернусь... и с победой.

Ласнамяэская квартира

Муравьи на кухне слёпы -
ну не чуют ароматы перемешанного света.

На глазах стареют в детской
дети, рано постигая, осознавши смысл взрослых.

Гипотоник-кот в прихожей
в почерневшей шерстке с хрустом поедает тараканов.

Я в гостиной ем газеты,
в них почти что обещают
имя божье дать нам вскоре.

Вновь восход и снова позже,
только фас, а зад не кажет,
и становится понятным
то, что бог не есть персона.

Был балкон до остекленья
только стартовой площадкой.

Белые ночи

Небо в глаза твои лезет нахально!
Тень не рисует видений случайных!!
Что-то сокрыть - ни минуты, буквально!!!

Только в душе неделимая тайна.

Прибалтийская зима

Старых берез ледяные пальцы черны и кривы.
Ноябрь истощенный мучительно к порогу поверг меня.
Коней моего отсутствия взвихрены белые гривы,
Душу несут в сердце самого южного летнего дня.

Босоногая дочь плетёт -
вяжет носки для любимой куклы.

Я сплетаю из слов
одежду надежды; надеюсь,
она - подобие божье.

...Ибо бог босоног.

Случайным не был этот снег ночной,
мой старый след присыпавший небрежно,
чтоб я уже не смог вернуться вновь
туда, где похоронена надежда.

Засыпанные старые следы
и инеем покрытая надежда,
обычно: кокон светлых нитей прежде...

он белокрылу бабочку родит.

И все-то имеет свои очертанья,
имеет границы для нас.
И самое смутное даже желанье
в земную обрамлено страсть.

Границы не давят, не слышится лая.
Мир тих, как знакомый трактир,
Где каждый, желая того, не желая,
творит для себя... антимир.

Эстония

Садик, деревянный дом с пионами
(мхи солому крыши зеленят)
втиснулись в панельные с балконами
контуры сегодняшнего дня.

Позабудь о них, и ты потерял,
день свой предал. Коли ты таков,
то тебя потопит благоересь
с кучею таких же дураков.

Сон, в нём ты в двуликости упорный,
связанные крылья ветряка.
Вихрь дохнул - ветряк с землицы сдёрнул.

Я лечу. Домой. Наверняка.
1999

Плач по сельской выгребной яме

Природа раскрывалась умирая,
уже не отличая миг от века.
Оттуда шел и запах человека -
там яма заполнялась выгребная,
вбирая тлен. И хлеб грядущий некий,
и смысл лишь ведунами постигаем.

Гонясь за мигом, не убить бы века,
решая нечто, душу отворяя.

III. СОСТОЯНИЕ

(хотел сказать тебе)

как камень сизифов
не достигший вершины -
так каждое слово бессильно и тяжело
стремится скатиться
по склону горы языка
в горло моё -
каменоломню пустую.

И я выдыхаю тяжелую пыль,
рожденную камнепадом.
...хотелось сказать тебе...

Вот маятник в часах настенных
Налево - тик, направо - так.
И неоткуда выбрать время,
чтоб вразуметь - я сам дурак.

Судьбы качели, а судьба-то -
от "я" до "я", меж полюсов:
налево - быт, жена, зарплата,
направо - сонм астральных снов.

Желаю жить не выбирая:
"Судьба, стой!", "Качайся ты!"
И правда тихо умирает,
попав под острый нож мечты.

*Перевел с болгарского
Борис БАЛЯСНЫЙ*



**ЛИДИЯ
НУСБЕРГ**

**ЧУЖАЯ
ПОДПИСЬ**

В газете “30 октября” (День памяти жертв политических репрессий), издаваемой в Москве Международным историко-просветительским, благотворительным и правозащитным обществом “Мемориал”, в трех номерах за 2005 год - 50, 51, 52 - публиковались “Страницы памяти” Лидии Ивановны Нусберг. Это горестный рассказ о судьбе отца, “врага народа”, известного советского летчика Ивана Ивановича Нусберга.

Нам в редакцию “Страницы памяти” передали через газету “Молодежь Эстонии”, так как тема репрессий - одна из кардинальных тем журнала (проект “Архипелаг ГУЛАГ: эстонский остров”). И мы узнали, что предки по линии отца Лидии Ивановны - эстонцы, крепостные крестьяне Пяхклимяги (ореховая гора), которых барон переименовал на немецкий манер в Нусбергов. Родился Иван Нусберг в семье эстонского железнодорожника (1893) в г. Валк Лифляндской губернии. Был и ремонтным рабочим на железной дороге, и телеграфистом, и электромонтером на заводе “Вольта” в Ревеле. Во время Первой мировой войны служил на Западном фронте в воздухоплавательном батальоне мотористом. А после окончания курсов авиации в Петрограде в числе ста русских офицеров и рядовых был послан в Англию, в королевскую летную школу Ханслоу. Вернулся в Россию, а тут - революция, Октябрь 17-го. По пролетарской логике - вступление в ряды ВКП(б) и Красный авиаотряд.

Кратко излагаем подробное повествование Лидии Ивановны (может быть, со слов самого отца) о том, как Нусберг прошел всю Гражданскую войну, получал очередные повышения, командовал авиаотрядом в Харькове, создал эскадрилью имени Ильича, возглавил первый авиапарад над Красной площадью... И вдруг в 1928 году - “снижение” до

простого летчика. Л.И. пишет: перед смертью отец намекнул, что его пытались завербовать во внешнюю разведку. Впрочем, переехав с семьей в Среднюю Азию, он и там скоро пошел вверх: прокладывал авиалинии над пустынями, вызволял из бунтующего Кабула английских дипломатов, следил за передвижением банд басмачей, высаживал десанты для их разгрома, был неоднократно награжден и наконец в 1933 году приглашен в Москву. В Главном управлении Гражданского Воздушного флота ему предложили работу пилота-агитатора в особой сводной агитэскадрилье имени Максима Горького. Отметим: командиром был назначен «летчик-наблюдатель» Михаил Кольцов, писатель, репрессированный в 38-м. Но пока все складывалось триумфально. В особо дальнем перелете по маршруту Москва-Иркутск-Москва Иван Нусберг испытывает новый самолет, о чем сообщают в газетах.

В 1934 построен самолет-гигант «Максим Горький». 18 мая 1935 года летчики И.И. Нусберг и В.И. Чулков, сопровождая его на самолете «Правда», стали свидетелями страшной катастрофы. У них на глазах гигант, задетый за крыло тренировочным самолетом (под управлением Благина), буквально развалился в воздухе. Одна деталь, долгие годы тщательно скрывавшаяся: полет «Максима Горького» снимался на кинокамеру, установленную на самолете «Правда».

Только через 60 лет Лидия Ивановна наткнулась на сохранившиеся записи отца. «В них говорилось, что это была запланированная съемка, кинематографисты собирались запечатлеть совместный полет самолета-гиганта и небольшого тренировочного самолетика. Фигуры высшего пилотажа, которые выполнял Благин, были предусмотрены сценарием, утвержденным на самом высоком уровне. Разумеется, эта информация была засекреченной, нигде и никогда не публиковалась». Наоборот, газеты писали, что Благин нарушил категорический запрет на какие-либо «мертвые петли», что и послужило причиной гибели самолета и полусотни людей... Правду знали только летчики «Правды»... Наверное, для Нусберга опасность таилась и в этом, несмотря на все его заслуги, награды и почетное звание «миллионер»: до 1938 года он налетал 1 000 000 километров.

Его дочь, Лидия Ивановна Нусберг (1923), прошла всю Отечественную (не зная, что в лагере с отцом), ветеран, врач, кандидат медицинских наук, посвятила свою жизнь (42 года!) борьбе с туберкулезом и... поиску правды. Член «Мемориала», она живет этой правдой и навсегда передает потомкам «страницы памяти».

Вечером 12 марта 1938 года мой отец Нусберг Иван Иванович вернулся домой из очередного полета и, поужинав, сразу же крепко уснул. Время приближалось к полуночи. Мама собиралась кормить Володю, который только вернулся с молодежного вечера в Военно-воздушной академии им. Жуковского и рассказывал, что заходя в подъезд видел, как к дому подъехал “воронок”. И тут раздался звонок. Оказалось, незваные гости явились к нам.

Полусонного, ничего не понимающего отца обыскали прямо в постели, затем заставили быстро одеться, изъяли личное оружие, сняли с груди орден Красного Знамени и начали производить обыск.

Обыск длился несколько часов. В квартире учинили полный разгром. Разговаривать с отцом и подходить к нему нам не разрешили.

Когда отца вывели из комнаты в коридор, я, забыв все запреты, в слезах кинулась ему на шею, и двое конвоиров с трудом оторвали меня от него. Отца вытолкали за порог. Дверь захлопнулась. С этого момента мы не видели его 10 лет.

Мы искали отца, мама обращалась в разные инстанции, но везде было равнодушие, молчание, презрение. Мы ходили с продуктовой передачей по всем тюрьмам Москвы, стояли в нескончаемых немых очередях. Красноармеец долго проверял длинные списки арестантов, ища нужную фамилию, и отстранял рукой передачу. “Нет такого. Следующий”.

В конце апреля нам повезло: в Бутырках, в списках, нашлась фамилия отца. Как выяснилось в дальнейшем, там же был и Нусберг Яков Иванович - младший брат отца, арестованный в ночь с 14 на 15 марта 1938 года.

Отец рассказывал нам, как однажды всех арестантов его камеры быстро вывели во двор, погрузили в “черный ворон” и куда-то повезли. В машине было темно, но он узнал голос брата Якова. Они ощупью нашли друг друга. Их привезли мыться в Краснопресненскую баню напротив зоопарка. Это было их последнее общение. В тюрьму возвращались уже в разных машинах.

В 1938 году выжить в тюрьме было очень нелегко. Днем спать не давали, ночью водили на допросы, где измученные заключенные до потемнения в глазах часами стояли на опухших ногах перед следователями, которые менялись и после смены уходили домой. А новая смена начинала все сначала. Они кричали, оскорбляли, шанта-

жировали, обманывали, били и изуверски пытали. Отцу особенно запомнился своей жестокостью младший лейтенант Скоробогатов.

Следователи предлагали отцу самому выдумать какое-либо преступление, оклеветать себя и своих якобы сообщников и изложить “признание” на бумаге.

Однажды после очередного ночного допроса избитого И. Нусберга ввели в кабинет какого-то (фамилия его, к сожалению, осталась неизвестной) начальника госбезопасности. Тот протянул отцу папиросы, дал прикурить, велел подчиненному принести чашку чая с бутербродом и сказал примерно такие слова: “Уважаемый Иван Иванович. Не усложняйте себе жизнь, поберегите себя и семью. Мы прекрасно знаем вас, ваши заслуги, знаем, что вы никакой не “враг народа” и не шпион, но поймите, что так нужно для партии и страны, для нас (т.е. для НКВД. - Прим. авт.). Такое сейчас время. Подумайте! Признайтесь. Подпишите. Ведь это в интересах дела. И все ужасы для вас закончатся”, - и так далее и тому подобное. Отец отказался.

С каждым днем он все больше худел и слабел. Допросы продолжались. Отца избивали, угрожали, что если он не подпишет подготовленные заранее вопросы и якобы свои ответы, то сгноят в тюрьме и его, и сына, и дочь, которые, как ему внушали, находятся в соседней камере. На одном из таких допросов отец потерял сознание. Очнулся в камере. На следующую ночь обессиленного, плохо соображающего И. Нусберга повели к “доброму” начальнику. Тот ласково поздравил отца, что теперь все подписано, все в порядке, он будет этапирован на Север и спокойно работать на благо страны.

От этих слов отец опешил, но все-таки попросил показать свою подпись. Ему отказали и отволокли в камеру. Он много передумал, но факта подписания так и не вспомнил.

После реабилитации И. Нусберга, когда я читала его дело, меня, естественно, интересовал протокол допроса, где отец якобы признал себя виновным. Я нашла его. В протоколе, датированном 31 марта 1938 года, по левую сторону листа корявым почерком с грамматическими ошибками были написаны вопросы. Их было, кажется, 10-12. Справа, против каждого пункта стоял ответ - “Да”, написанный другим, неизвестным мне почерком, и под каждым ответом размашистая, чужая, примитивная подпись “Нусберг”. Все семь полупечатных, корявых букв

фамилии стояли отдельно друг от друга. Я хорошо знала красивую, компактную подпись отца, которую он ставил одним росчерком, не отрывая пера. Но все-таки сверила с анкетой, также находящейся в деле, заполненной и подписанной рукой отца, и убедилась в правильности своих подозрений. Я подошла к сотруднику, выдавшему мне дело, и показала отцовскую и подделанную подписи для сравнения. Он, признав, что они совершенно непохожи, сказал: “Какая теперь разница - ведь и подсудимый и судьи давно в могиле. Что теперь экспертизу проводить?”

Помню, как в 1938-м, получив первое заявление отца в Прокуратуру РСФСР с просьбой разобраться в инкриминируемом ему преступлении, мы с мамой попеременно стояли в огромной очереди в Прокуратуру на Пушкинской улице. Очередь продвигалась медленно. Маме никак нельзя было пропускать службу. Я же могла школьный денечек прогулять без справки.

Через несколько часов стояния меня уже знобило, болели ноги и клонило в сон. Я пристроилась на ступеньках парадной лестницы и, вопреки запрету, вскрыла конверт и прочла заявление отца прокурору. Я узнала, что отцу были предъявлены обвинения в том, что он, И.И. Нусберг, такого-то числа, месяца (дату сейчас не помню) 1931 года в Москве был завербован зам. начальника Главного управления гражданского воздушного флота СССР Я.Я. Анвельтом в эстонскую разведку. Никаких заданий не выполнял и денежных вознаграждений не получал. Отец писал, что никто его не вербовал и в Москве он не был, о чем имеет документальные доказательства нескольких живых свидетелей - летчиков и бортмехаников, с которыми тогда безвыездно работал в Туркестане и Афганистане. Конечно же, никакого ответа на это заявление не последовало.

После ареста отца наша семья оказалась изолированной, как в вакууме, и психологически подавленной. Никто из знакомых, друзей, сослуживцев отца, жильцов дома с нами не встречался. Отказались от общения и уцелевшие родственники, кроме тех, у кого в семье случилось такое же несчастье, но виделись тайно, говорили шепотом.

Каждый день приносил новые неприятности. Нашу семью сразу же уплотнили, переселив из трех комнат в одну. Маму нигде не брали на работу. По ночам ее нередко вызывали на Лубянку. Допрашивали, что-то уточняли, запугивали, обманывали. Предлагали отказаться от мужа

и развестись с ним. А потом вербовали в сексоты. Мама боялась, как бы не арестовали ее, сына и даже меня. На Лубянке она узнала о существовании в СССР с 1935 года указа о привлечении к уголовной ответственности вплоть до расстрела за “политические преступления” детей с 12-тилетнего возраста. Мама не могла спать, пугалась каждого шороха. Вскоре начались вызовы в жилищное управление с требованием, чтобы мы освободили незаконно занимаемую служебную жилплощадь в доме пилотов. Это было начало травли. Здоровье мамино пошатнулось, голова шла кругом, и никакой поддержки ждать было неоткуда.

Нужда навсегда закрепилась в семье, хотя мамин дальний родственник и устроил ее на работу в артель “швейремонтадежда” - приемщицей в ателье.

Мой брат Владимир как раз в год ареста отца закончил 10 классов и вместе с несколькими друзьями-одноклассниками подал документы в Военно-воздушную Академию им. Н.Е. Жуковского, которая шефствовала над их школой.

Полковник приемной комиссии, хорошо знавший нашего отца и двух его братьев, посоветовал Володе забрать заявление, так как сыновей “врагов народа” в военные академии не берут, и побыстрее покинуть Москву. “Где-нибудь на периферии, - сказал он - вам, возможно, и повезет поступить в какой-то институт”. Это было крушение мечты брата. Никому ничего не говоря, он уехал в Астрахань, сдал экзамены и поступил в Рыбвтуз. Брат надеялся, что по окончании попадет в китобойную флотилию - все-таки романтика моря и мужское дело. Но ему предложили заниматься солением, копчением, консервированием рыбы, а это его совсем не интересовало. Когда волна арестов в Москве начала спадать, в конце 1939 года он вернулся домой.

Средств на учебу не было. Как сына репрессированного на работу его братья не очень-то хотели, и он устроился грузчиком на 2-ой часовой завод, где и трудился до призыва в Армию в мае 1941 года. А так как в пятой графе его паспорта было написано - эстонец, его загнали в трудармию для сыновей “врагов народа”. Почти тюрьма.

В ноябре 1939 года, когда я вступала в комсомол, без которого тогда не представляла своей жизни, у меня было нелегкое переживание. Меня повели в Свердловский районный комитет ВЛКСМ, где после полагавшихся в подобном случае экзаменационных вопросов мне предложили отречься от своего отца. Я оцепенела и не могла

вымолвить ни слова. Мне что-то говорили, а до меня не доходило. Я не сомневалась, что мой отец - жертва ошибки, клеветы или даже преступления в непонятной нам, детям, политической игре. Я молчала. Не знаю, чем бы кончилось это дело, но секретарь комсомольской организации нашей школы вдруг заявил, что я уже осудила своего отца и отказалась от него. Все вздохнули, и мне выдали комсомольский билет.

Непосильные физические нагрузки и моральные переживания тяжело легли на плечи матери. Однажды, когда она едва держалась на ступеньках переполненного трамвая, у нее закружилась голова и на полном ходу она упала на каменную мостовую. Результат - сотрясение мозга и перелом височной кости. Мама долго лечилась в неврологическом отделении.

Суда над отцом не было. Его заменило особое совещание при НКВД СССР, или иначе "тройка". Постановлением от 2 июня 1938 года Иван Иванович Нусберг был обвинен по статье 58-6 (шпионаж) УК РСФСР и осужден на восемь лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.

Летом 1938 года нашу семью официально известили, чтобы мы для отца передали теплые вещи, так как собран большой этап, но откуда он выйдет, когда и куда, ни слова не говорилось. Все делалось в полной секретности.

К концу 1938 года стало известно, что И. Нусберг находится на прииске Линковой. Мы послали деньги, посылку, письма, телеграммы. Ждали, волновались, но ответа не было. В апреле 1939 года в Москве мать подала заявление в управление лагерей о розыске пропавшего без вести отца.

Наконец под новый 1940 год мы получили от него два письма. Одно датированное августом, а второе ноябрем 1939 года. Адрес изменился. Теперь это была Бухта Нюгаево.

Привожу несколько цитат из этих двух писем: "Послал вам много писем и телеграмм", "Меня в июне (1939) с прииска Линковой перевели в райцентр Берелех".

"4 раза лежал в больнице - беспокоит крепко ревматизм, цинга, сердце". И это пишет 45-летний человек, который в 1938 году прошел строгую отборочную комиссию врачей всех специальностей, и всеми был признан совершенно здоровым и пригодным к полетам! "Еще в Таганке встретился я с Яшей (с братом), а с Войтой (му-

жем сестры Алины) были вместе до Ногаево, где он остался в больнице”.

“Все собственные вещи продал, и вот этих денег хватает на махорку”.

“Кроме всего лагерного получаю 40 р. в месяц”.

“Посланные деньги (100 р.) прибыли, но до сего времени не получены”..

“Денег не посылайте - трудно их получить”.

Отец писал заявления-жалобы в различные инстанции о том, что он не виновен, никаких преступлений не совершал; убедительно опровергал огульные обвинения, просил о пересмотре дела. Писал в НКВД, в ЦК ВКП(б), в Президиум Верховного Совета СССР, в Верховную Прокуратуру СССР.

До нас от отца доходили далеко не все письма, как и до него наши. В письмах, конечно, о многом нельзя было написать, но представить общую картину его существования мы могли, а кое о чем догадывались. Письма месяцами задерживались.

И. Нусберг смолоду был патриотом, остался им и в неволе. Всего за весь долгий срок заключения мы получили 14 писем, и сейчас они лежат передо мной.

Из писем выясняется, что зэк И. Нусберг отбывал срок в Дальневосточном, Хабаровском крае: прииск Линковой, бухта Ногаево, Берелех, Сусуман, Колыма, Магадан, бухта Находка. Из них отца посылали в так называемые командировки в тайгу на лесоповал, рабочим на адские золотые прииски, в забой, на промкомбинат...

Труднее всего было зимой на лесоповале. 10.06.1944 он пишет, что работать везде тяжело, но лишь бы не попасть в тайгу. “Работаю на лесоповалах 43 км от Магадана. Мороз до -53 градусов. Неимоверные трудности” (из письма 12.03.1945).

Однажды, лютой зимой, тяжело больного, истощенного зэка И. Нусберга с прииска поместили в лагерную больницу. Там было кое-какое лечение, отдых, теплое помещение. Он стал оживать. Работники кухни позвали его чистить картошку. А за усердие он получал дополнительный кусок хлеба или сахара, половник супа-баланды или каши. Случилось так, что заболела сотрудница, занимающаяся калькуляцией меню. Отец предложил свою помощь. Вскоре его перевели в бухгалтерию, так как там кто-то из вольнонаемных проворовался. Он стал надежным счетоводом, затем три месяца работал в бухгалтерии местпрома. В ноябре 1940 года он писал семье из Сусумана с Колымы: “С работой благополучно, в тепле

перебираю миллионные цифры, кубики, рублики”. Это помогло ему выжить зимой, более или менее поправить здоровье. Только весной он попал “в опасную и трудную командировку”, но уже становилось теплее, светлее.

Вместе с нами страдали и убивались в горе Грета Генриховна и Иван Иванович Нусберги - мать и отец семерых детей, из которых мой отец был старшим. Старики гордились детьми, жили их радостями и успехами. И вот в 1936 году скончался сын Александр, в 1938 году арестовали Ивана и Якова, зятя Войцеха, а еще раньше бабушкину сестру Анну с мужем и двумя сыновьями. Стариков затаскали в НКВД. Их дочери - Ксения в Польше, а Эмилия в Эстонии - не знали, что творится в СССР. Не имея от родных вестей, они продолжали часто писать родителям, да к тому же на родном эстонском языке. Люберецкая цензура письма перевести не могла. Их пронумеровали и отдали старикам с предупреждением и распиской об ответственности за их сохранность. Периодически по ночам вооруженные чекисты внезапно являлись в дом, требовали представить письма, подсчитывали, не пропала ли хоть одна страничка. У бабушки вечное напряжение и страх стимулировали развитие болезни Паркинсона, в 1941 году она уже не могла донести до рта, не расплескав, ложку супа.

29 сентября 1941 года моя бабушка, Грета Генриховна 73-х лет ушла из жизни, удавившись на кровати в своей комнате.

В то время, когда СССР терял миллионы людей на фронтах, на оккупированных территориях, в тылу и фашистских концлагерях, советские тюрьмы и лагеря были переполнены невинными политзаключенными, в том числе квалифицированными военными специалистами высшего командного состава Красной Армии. Кто знает, сколько жизней могли бы они спасти, насколько сократить и облегчить путь к победе.

В марте 1946 года кончился срок заключения И.И. Нусберга, но вместо законного освобождения ему объявили о задержании до особого распоряжения. На свободу отец вышел только 16 апреля 1947 года с задержкой в тринадцать месяцев и шесть дней.

Нусберг долго копил деньги на дорогу домой, но накопил немного. Хорошо, пассажиры поезда, на котором он вместе с освобожденным одновременно с ним напарником-политэком пересекли всю страну, из сострадания угощали их кто огурцами, кто яйцами, кто картошкой...

В 1948 году отец в последний раз обратился к Военному прокурору войск МВД СССР с заявлением о пересмотре дела и впервые получил ответ от помощника военного прокурора полковника Ленова-Краско: “Настоящим сообщаю, что Ваше заявление рассмотрено и оставлено без удовлетворения. Дело проверено, оснований для изменения ранее вынесенного решения не имеется”.

Отец также обратился в отдел социального обеспечения с просьбой о назначении пенсии. Оттуда сделали запрос в финансовый отдел Московского военного округа. Вот ответ, который получил Нусберг: “...удовлетворить просьбу гр. Нусберга о назначении пенсии по первой группе инвалидности не представляется возможным за отсутствием 18-летнего трудового стажа. Служба в Советской Армии с 1918 г. по 1936 г. не принимается к зачету ввиду того, что гр. Нусберг в 1936 г. был осужден на 8 лет за уголовное преступление, которое лишает права принимать к зачету трудовой стаж до ареста.

С 1947 г. по сентябрь 1948 г. Нусберг имеет трудовой стаж на 1 год 13 дней”.

Гордость и слава советской авиации Иван Иванович Нусберг умер в нищете и забвении 11 августа 1949 года от рака желудка. Ему было только 56 лет. Незадолго до его кончины нам удалось получить для отца временную московскую прописку, благодаря чему мы смогли похоронить его в Москве на Пятницком кладбище.

Только через 8 лет после смерти отца, в мае 1957 года, военный трибунал Московского военного округа выдал нам следующий документ:

“Справка.

Дело по обвинению Нусберга Ивана Ивановича, 1893 года рождения, до ареста 12 марта 1938 года - летчика агитэскадрильи им. Максима Горького, пересмотрено Военным Трибуналом Московского Военного округа 29 апреля 1957 года.

Постановление особого совещания при НКВД СССР от 2 июня 1938 года в отношении Нусберга Ивана Ивановича отменено, и дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления.

Зам. председателя военного трибунала МВО полковник юстиции /Н. Гуринов/”

Долгожданная эта справка, официально подтверждающая невиновность отца и восстанавливающая его честь и достоинство, вызвала не столько удовлетворение, но щемящую боль и горькую досаду. Ведь отца уже не вернуть, да и нам не забыть прошедшие годы...

Узнав о Русской Голгофе - одном из мест захороненной жертв сталинских репрессий, которое было обнаружено в Подмосковье на полигоне Бутово, в марте 2003 года я сделала запрос в "Мемориал" по делу Якова Нусберга, брата моего отца, тоже военного летчика, бесследно исчезнувшего после ареста в марте 1938 года. В мае того же года получила ответ от заведующей Архивом "Мемориала" А.Г. Козловой:

"...В выпуске третьем Книги памяти жертв политических репрессий "Бутовский полигон" (Москва, 1999) мы нашли сведения о вашем дяде. Посылаем ксерокопию...

Книга составлена на основании списков, переданных из архива ФСБ..."

На стр. 122 Книги памяти написано:

"Нусберг Яков Иванович 1903 г.р., родился в г. Валке Лифляндской губ. (Эстония), эстонец, из рабочих, чл. ВКП(б) с 1925 г., <...> заместитель начальника Узбекского управления Гражданского воздушного флота.

<...>

Арестован 15 марта 1938 г.

Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР от 25 мая 1938 г. по обвинению в шпионаже в пользу Эстонии назначена высшая мера наказания - расстрел. Приговор приведен в исполнение 7 июня 1938 г.

Реабилитирован 1 июня 1957 г."



На высоких каменных ступенях
Твоего прекрасного дворца
Никогда не умолкает пенье
Заводного мёртвого скворца.
Навсегда остановилось лето
В том саду, где лёг твой древний род,
Не роятся празднично кареты,
Не толпится радостный народ.
Нет шутов и нет наследных принцев,
Все портреты мертвенно-бледны...
Знаешь, это самый верный признак,
Что и мы как будто не видны...
Оттого ли в сердце гаснут свечи -
С каждой ночью всё тусклее свет?..
Жизнь играет с нами в чёт и нечет,
А другого ничего в ней нет.

ГИБЕЛЬ СОДОМА

Померкли свечи зазеркалья.
Мы переходим небо вброд.
Горящей белой вертикалью
Тебе наш видится полёт.

*Денис Кузьмин (1981) - магистрант отделения славянской филологии
Таллиннского Университета. В 2005 году дебютировал сборником стихов
"Палимпсесты" (Таллинн, изд-во "Авенариус"). У нас печатается впервые.*

Кипящий воздух нами вспорот,
Начало кажется концом,
Мы опоясываем город
Большим сатурновым кольцом.
Навстречу солнечному роду,
Оправленному бирюзой,
Сквозь непогоду и породу
Ревёт и рвётся Кайнозой.

Когда приблизится комета -
Смотри, не открывая глаз,
Как дети сумрака и света
Обнимутся в последний раз.

ПОТЕРЯЛ

Я потерял в завалах памяти
Лица знакомого овал,
И имена, и сердца маятник -
Я потерял, я потерял...

Я потерял и - нечем выплакать,
Заполнить нечем пустоту,
Как эхо от немого выкрика -
Слова, умершие во рту:

“Я потерял...” Хожу как раненый...
Какая жуть!
Тебя родной - такой, как ранее,
Не нахожу!..

О чём молчат в тени надгробий
Бумажные цветы,
Пока лежим в земной утробе
И я, и ты?
В дремотных недрах сонно зреем -
Плоды глубин,
Но с каждым днём бегут быстрее
В нас соки глины.
Когда снаружи безраздельно
Царит весна,
Мы в нашем мире колыбельном -
В объятьях сна.

О чём там шепчутся над нами
Луна и зверобой?
Беззвучно шевелим губами
И мы с тобой.
И не торопимся проснуться
И прорасти.
Сердца таинственные бьются
Птенцом в горсти.
О чём вздыхает чуть заметно
Земная грудь?..

Мы все взойдём навстречу свету
Когда-нибудь.

**ГРИГОРИЙ
БАЛАШОВ**

**Я
ИЗ
КРОНШТАДТА**



Григорий Михайлович Балашов (1935) - младший брат известного русского писателя Дмитрия Балашова (1927-2000). Инженер. Автор двух изобретений, тридцати четырех научных (в т.ч. печатных) трудов. Кандидат технических наук. Первые, и единственные пока, его литературные опыты называются "Сочинения". Но здесь ни одного сочиненного слова. Это высочайшее достоинство. Кому-то подобное "нечистописание" покажется даже страшным. Хотя прямой взгляд, в прежней русской жизни, считался непременным качеством подлинного человека. Таким был и Д.М. Балашов. Замечательный фольклорист ("Народные баллады", 1963, Библиотека поэта - Большая серия). Ученик Д.С. Лихачева и доктора филологии А.М. Астаховой. Сильно повлиял на Д.М. Лев Николаевич Гумилев. Д.М., исторический романист, читал его.

"Многим Дмитрий Михайлович (пишет Г.М.) стал неудобен и своими высказываниями, и статьями в газетах. И вот в ночь с 16 на 17 июля 2000 года его зверски убили в его же доме в Козынево, проломив череп и затем задушив веревкой. Причем деньги, лежащие на видном месте, не взяли. И эта дата совпадает с датой убийства Николая Второго. А до этого почему-то испортилась сигнализация в новгородской квартире, несколько раз гас свет. Да, политическое убийство, конечно, никогда не будет раскрыто". Увы.

Но память честного человека бескомпромиссна.

Ю.З.

Работая после ВУЗа, однажды узнал, что станочный парк ФРГ обновляется, в среднем, через 1,7 года. У нас станки работали по 10, 20 и даже 30 лет. Не сразу узнал, что означают три буквы наших отечественных станков: ДИП-200, ДИП-300, которые давали точность обработки плюс-минус 1 см. Простого болта на них выточить уже было нельзя.

Оказалось ДИП - это “Догнать и перегнать”. Но расшифровывать эту аббревиатуру считалось неприличным.

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК

Надвигалось пятидесятилетие советской власти. Науку опрашивали, что она может дать к этой дате. И институт землеройной техники ответил: “могилокопатель, заменяющий труд трех землекопов”.

1979 год, Братск, Братский лесопромышленный комплекс, перерабатывающий такое гигантское количество древесины, что даже шведы ездили смотреть, дабы лично в этом убедиться.

И нас двое прибыло в Братск, инженеров-механиков, устранять некоторые неполадки в оборудовании.

В гостиницу нас определили, претензий нет. На завод с утра и изучали процесс. Линия подачи стволов древесины с уже обрубленными сучьями состоит из нескольких продольных ленточных транспортеров, длиной до 800 метров. И в них штука за штукой движутся эти бревна, а в конце линии, под продольными ленточными транспортерами, находится поперечный, расположенный под 90 градусов. И с верхних транспортеров специальными устройствами бревна сваливаются на нижний и движутся далее на дальнейшую обработку. А в чем же проблема? А в том, что иногда эти бревна задевают за верхние ленточные транспортеры и ломают их, и вот это надо устранить.

Сижу на верхнем ярусе этой мощной конструкции и наблюдаю весь процесс. По опыту уже знаю, что подобно инспектору Мегрэ надо захватывать шире, вникая в психологию человеческой души. Вник. В городе много громадных продмагов, и в них ничего, кроме ржавых консервов. Но рабочие завода достают и колбасу, и мясо, и масло. Оказывается, дают прямо на заводе, в заводской столовой, во время работы.

Расстояние от верхних транспортеров до нижнего поперечного где-то, примерно, метр, то есть все бревна свободно проходят, ствола метровой толщины здесь не может быть по технологическим требованиям. Так в чем же дело? А в том, что частенько раздается крик: “Люся, колбасу дают”. Люся выключает поперечный транспортер и убегает за колбасой. А продольные - это не ее компетенция, они продолжают работать, и поэтому на неподвижном поперечном транспортере скапливаются кучи бревен, превышающие один метр, а отсюда и поломка.

Что тут можно предложить - установить автоматику, чтобы при отключении поперечного отключались бы и продольные транспортеры.

Второй путь: выдавать колбасу в нерабочее время, во время перерывов и т.д., но для этого надо уметь считать до трех, а таких родится всего не более 5% населения, и наверх их никак не пускают, ибо они разрушат фон серости и безразличия.

Было еще много и других технических вопросов, но срок командировки кончался. И мы пошли хлопотать насчет обратных билетов. Оказалось, на самолет, которым только и можно долететь, очередь живая, круглосуточная, тесно прижатая друг к другу, и покидать ее ни днем, ни ночью нельзя, иначе ряды смыкаются и уже туда вновь не пустят. И люди здесь томятся уже многими сутками.

На этом ЛПК есть зам. генерального директора, который ведает и билетами на самолет вне очереди. Попробовали приблизиться к нему, но он на уровне местного графа, или султана, дальше секретаря не пройдешь. И когда выяснилось, что мы не заместители министра, и не начальники главка и даже не шведы, с нами просто перестали разговаривать.

В очереди мы отстояли всего трое суток, сменяя друг друга, хорошо, нас было двое, и улетели на Москву, ибо на Ленинград совсем билетов не было. Так бесславно и закончилась наша помощь любимому Братску.

После войны, уже во времена переразвитого социализма, додумались: колхозников и совхозников селить в многоэтажные блочные дома, то есть совершенно оторвать крестьян от крестьянского быта и труда.

Все было, уничтожали кулаков, ссылали середняков, отбирали начисто все нажитое ими. Бедняков не трогали, надо же было на кого-то все-таки опираться. Село развалили. Далее придумали сельских учащихся содержать в интернатах, вдали от своего дома, дабы не могли от родителей перенять крестьянских навыков. Все было, куда дальше? А есть куда. Придумано-то как хитро. Вот мы не сажаем, не стреляем, ничего не отбираем, ибо и взять уже нечего. Вот как мы о вас заботимся, будете жить друг над другом, забудете, как держать скотину, как за ней ухаживать. Изошренное издевательство.

Ведь какой-нибудь полуграмотный Ванька, сидящий выше некуда, мог и подписать с пьянки какие-нибудь бу-

маги на сей счет. Но готовили эти бумаги очень умные хитрые люди, которые знали, как и зачем развалить эту страну. Им не страшно, они переедут в любую другую, на их век стран хватит.

Человек устроен жить на земной поверхности, и над ней. Он видит, ощущает ветер, небо, солнце, зелень всего растущего, водные глади, многочисленных животных и т.д. Под землю он уходит однажды и навсегда. Исчезнет он, исчезнет и память о нем, у кого совсем быстро, у кого - помедленнее.

Но вот замечено, что работники торговли и рестораторов очень любят крысиный образ жизни, стащить кусок - и в щель, под пол. Там им уютно, там они грызут украденное.

Архитектор старается, строит сооружения сплошь со стеклянными стенами, в красивом месте, с видом на пейзаж, то есть парк, водоем и т.д. И сооружение это может быть на уровне второго или третьего этажа, то есть никто в окна не заглядывает. Приходят торговцы и первым делом с самого верха и до самого низа завешивают все окна плотной материей, "создают уют", явно крысиный уют с точки зрения последних.

Народ кушает то, что подают. В массе народ - мешанство, что им дают по телеку, то и смотрят.

И вот многие у себя дома тоже устраивают крысиный уют, даже на третьих-четвертых этажах, и не имея перед собой домов, тем не менее, приходя домой задергивают шторы, включают электрический свет, и им уютно. Даже небесные ангелы к ним никогда не заглянут.

Лично я никогда не имел никаких штор. Проснусь ночью, гляну в окно - там или ветер, или дождь, или снег, или луна, или облака, и у меня связь с этим миром не разрывается, я в нем живу и днем и ночью, я здесь, на дневной поверхности, а в темень, в подземелье - рано мне спешить, оно придет, позовет и никуда от этого не денешься, а здесь отпущено не очень много, примерно каких-то 70 лет, 70 оборотов вокруг солнца, это же песчинка в океане.

Наблюдаю, в банках, офисах окна с утра и круглосуточно задернуты шторами, и люди работают при электрическом свете. Видимо, боятся, что какой-нибудь снайпер засядет в доме напротив и начнет их отстреливать, как куропаток.

Однажды мне пришлось побывать в кабинете замести-

теля министра РСФСР целых две минуты. И я успел заметить, что подоконники расположены на уровне двух метров от пола. Ну, эти-то знают, что их надо отстреливать, и страшно боятся этого.

Помню, на Волге, плавучая штука, и на четвертом ее этаже - ресторан. Вид на Волгу изумительный, за один вид платить можно, но все окна завешены сверху и донизу, абсолютно плотно. Хотелось кричать: люди, не превращайтесь в крыс!

Ведь этого крысу-директора назначила какая-нибудь выдра в бобровом воротнике, которая сама любую крысу сожрать может. И посему принимает ежемесячные подачки от ею назначенных крыс. А народ - он безмолвствует, он кушает, что дают. Его готовят быть человеком третьего тысячелетия: на земле уже мало места, и жилища строят вниз от дневной поверхности на 20-30 метров и более. И вот этот воспитанный крысами человек едет с работы, обязательно под землей, опускается на лифте на 20-30 метров еще ниже, входит в свое жилище, включает кондиционер, телевизор, пьет пиво из холодильника, и он - вполне счастлив. Ветер, дождь, снег, луна, это только по телевизору из допотопных времен.

Прихожу с работы в свою коммуналку, радио не включаю, сажусь за работу, научную работу я тогда писал. Соседи вне себя, и в замочную скважину подсматривают, и у двери прислушиваются: а почему у него тихо? а что он там делает? а почему у него нет телевизора, а почему он на кухне бывает всего 3-5 минут, а вообще, кто он такой, не шпион ли какой, почему с нами не общается и вообще, что происходит, кто он такой, может, донести на него, заберут и посадят на всякий случай. Жаль, прошли эти времена. Узнать бы, где он работает, вот бы туда десяток жалоб на него отправить, вот тогда бы он знал, как с нами не дружить. Мы пьем, курим, а почему он это не делает? Лучше нас, да? Нет, мы ему покажем кузькину мать, он еще узнает правду жизни.

В соседней коммуналке освободилась комната меньше моей по площади. В своем институте собрал все бумаги, все подписи, прошу поменять свои 28 кв. м на 22 кв. м. И пошел со всеми бумагами в Дзержинский райисполком к заместителю председателя Шестерикову. Доказываю, я аспирант, я работаю, сосед пьяница-грузчик, трудно мне.

А он мне: “А чем вы лучше грузчика?” Я ему: “В космос грузчики летают или инженеры?” Тогда как раз мода была на космос. Он мне: “Та комната лучше, не дадим, до свиданья”. И пошел я солнцем палимый, начиная понимать, что такое советская власть. Если этот Шестериков необразованный дурачок, то кто же такой умный, что посадил его на это начальственное место, или еще более тупое животное? А кто их вообще туда набирает, в правительство? Какая умная культурная сила?

Шестидесятые годы, приехал приятель издалека, затащил меня в ресторан, вроде “Восток” назывался. Сели, сидим, минут через 15 пришла женщина лет сорока, в очень короткой юбке, с безобразной фигурой, одежды не первой свежести, и грязной тряпкой стала вытирать наш стол. Минут через 20 после этой операции пришел мужчина-официант. Слава Богу - не она, вздохнули мы. Принял наш заказ и ушел. 30 минут его не было. Появился, подошел к нам: “Мальчики, а чего вы хотите?” Отвечаем, что мы уже ему высказали свои пожелания. Он: “Вот я такой, ухожу из зала и все, все забываю. А как войду в зал, сразу все вспоминаю”, и он ушел. Прождав еще 30 минут, мы встали и ушли. Вспомнил ли он о нас еще раз? Вряд ли. И другой случай. Был я в командировке в городе Таллине, встретился там с бывшим сокурсником, пошли с ним в подвальчик. Очередь, подождали, сели за чистый стол, за грязный там не сажают. Сели вдвоем, и никого к нам не подсадили. Там у них так принято. Что мы могли заказать? - два сторублевых советских инженера, конечно, бутылку дешевого вина. Когда официантка уже ушла, мой приятель: “Ой, сигареты забыл спросить”.

Идет наша официантка, ставит запечатанную бутылку, две рюмки, откупоривает бутылку при нас (в России это делают где-то там), наливает нам, достает из огромного кармана сортов восемь сигарет и спрашивает: какие возьмете, и уходя еще и спички кладет на стол. И при всем при том никто не гонит из этого заведения, сиди сколько хочешь. Нас это, конечно, удивляло и поражало, непривычных к человеческому обращению.

КАК МОЙ СОСЕД ОБХИТРИЛ ЗАВОД

Был он стропалем, с довольно высоким окладом. И послали его летом в пионерский лагерь от завода, и возил он там тележку с продуктами ровно три раза в день, от склада до кухни, а в остальное время загорал, купался,

выпивал и ничего не делал. Еда бесплатная, что еще надо. А уезжая, он взял справку от директора лагеря, что начинал он в 7 часов утра и заканчивал в 20 часов вечера, это от первой и до последней тележки, да еще работал без выходных. И поэтому, припугнув судом, получил тройной оклад. И мне в назидание сказал: “Вот, Гриша, шурупить надо”.

После этого я долго думал, что же такое государство? И мне показалось, что это огромная гидра, у которой нет глаз, ушей, обоняния, осязания и нервной системы, она бесформенна и неопределенна во всех отношениях.

ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ МНЕ

Это было в 1965-ом году. Рассказчик был вхож в какие-то высокие круги. Пояснил мне, что революции начинаются в университетах, это знает весь мир. И посему наш университет переносят в Петродворец, там удобнее их будет окружать и арестовывать. И университет должен быть окружен “юнкерами” - наиболее верными правительству, то есть военными учебными заведениями, где учат мало, а лишь требуют дисциплину и подчинение. Зарплаты у них повыше, чем у гражданских, в два-три раза, и посему они верны властям.

И еще мы говорили, что отдать бы университету все здания военной академии тыла и транспорта, а ту выселить в пригород. Но потому-то и не отдают, что она нужна здесь, для усмирения восставших студентов. Позже, будучи на военных сборах в этой самой академии, я узнал, что академия просилась в пригород, им полигоны нужны, и университет просил эти здания, но обком партии был против.

Я все удивлялся, какие революции, у нас в умах их и близко нет. И он рассказал мне еще следующее. Улица Войнова по особому сигналу вся блокируется в три минуты, ибо там МВД и два военных училища, и почти нет никаких магазинов, пешеходов очень мало. Спрашиваю, а зачем это. Оказывается, чтобы Ленинградское правительство, вернее - самые высокие шишки, могли срочно выехать на аэродром. А куда далее? А там круглосуточно дежурит специальный самолет, готовый взлететь и приземлиться за рубежом. То есть все договоренности на это имеются. Подивился я тогда очень всему этому услышанному и даже мало верил в это. До чего же рыльце должно быть в пушку, чтобы так опасаться своего народа.

Но вот вынос части университета в Петергоф, конечно, это безобразие. Тогда уже стройте там университет-

ский городок, как это делается в развитых странах, где будут жить все тамошние студенты и все преподаватели там работающие.

А “юнкера” в Петродворце есть, все правильно. Можно думать, что “система” эта работает до сих пор.

О РАВЕНСТВЕ ЛЮДЕЙ

Марксисты долдонили, что все от рождения равны. Ведь распевали подобные песни и некоторые из великих писателей и прочих деятелей культуры.

Люди от рождения совершенно различны. У одних есть слух, у других его совершенно нет, у одних есть певческий голос, у других, как у современных бардов - совсем его нет, у одних способности к высшей математике, у других к рукоделию, у третьих к безделью, воровству, пьянству и т.д.

Ведь и зачинают-то детей по-разному, и по пьянке, и под действием наркотиков, и при нездоровом теле, и с не залеченными плохими болезнями, так какой тут умный Маркс помочь в этом деле сможет?

Если взглянуть на человечество с точки зрения кадровика, то обнаружится, что организаторов производства, командиров родится всего где-то 5%, а способных самостоятельно вести свое индивидуальное производство - до 50%. А желающих поступить на работу к государству или частнику и получать зарплату - до 80%. Сюда входит и предыдущая категория, при этом отлично работают около 20%, хорошо тоже 20%, удовлетворительно - 20% и плохо работают, дают много брака - тоже 20%, это из 80%.

Категория товарищей, любящих бомжевать, где-то что-то получать, кричать, что они тоже люди, ссылаясь на Маркса, Чернышевского и даже некоторых великих, но которые нигде не желают работать - до 10% (социализм как только мог повысил эту разновидность), и последняя категория - попросту отбросы общества - воры, наркоманы, убийцы и прочее, до 5% от родившихся.

Так вот, марксизм вечен, он неистребим, ибо он провозглашает, что самые серые и примитивные - они самые лучшие и есть, а вот организаторов производства вообще нужно уничтожать, а брать все для жизни надо у того, у кого есть. Великий вождь провозгласил экспроприировать экспроприаторов, то есть, грабь награбленное. И все 80 лет наша страна так и жила, да и продолжает до сих пор. Убытки плохого колхоза списывали за счет прибыльного.

Есть категория населения у нас, которые не платят ровно ничего за свое жилье, и их никто и никогда не выселяет, не отключают им никаких коммуникаций, а за них платят честные трудолюбивые, которые свою лямку тянули десятки лет.

Ну и теперь, попробуй частник запустить, развернуть производство - разденут догола, натравят налоговиков, рекетиров, бандитов. Вот воровать, распространять наркотики - это пожалуйста. Живем по Марксу.

Время от времени эти бомжующие заявляют, что им надо отдать половину от тех, кто имеет. Почему? А потому, что они тоже люди.

Мне порой сдается, что было бы дешевле помещать их в закрытые резервации, кормить и давать бесплатно водки, сколько захотят. Вреда от них будет гораздо меньше. И Маркс с Лениным будут удовлетворены.

Двадцатилетний студент лег на траву лицом к небу и впервые в жизни с удивлением заметил, что на небе облака, и они движутся, свое восхищение он поспешил высказать окружающим, а так как окружал его только я, то и явился тем самым свидетелем его прозрения.

Я его спросил, неужели он действительно впервые увидел "это чудо". Он ответил, да, а зачем на небо смотреть, теоретически известно, что облака должны двигаться. И ему теории было вполне достаточно.

Я ему посоветовал идти в математики, всю жизнь смотреть и изучать никому не понятные и никому не нужные формулы, и голову от сих бумаг не отрывать и не поднимать.

Другой случай, через годы. Сажу в красивом парке, смотрю на все вокруг, выпитываю, изучаю, проникаюсь.

Дело к осени, деревья и зеленые, и желтые, и красные, небо где голубое, а где и синее. По аллее идут два старика, в руках у них дурацкие газеты, с дурацкими кроссвордами, и они вслух их решают. И смотрят только в землю. Мне подумалось: наверное за свои 70 лет тоже не увидели движущихся облаков, и хотелось им вдогонку сказать - дяденьки, граждане, хорошие, хоть перед уходом в лучший мир взгляните, где же вы были, где жили, где решали свои кроссворды, ведь на том свете ничего этого не покажут, так и не увидите планету Земля, а зачем тогда было на ней появляться?

Видимо, среди человекоподобных есть экземпляры, способные, появившись на свет где-нибудь под землей,

например, в метро, всю жизнь прожить там, так и не поднимаясь на дневную поверхность. Это тоже неплохо, их можно было бы использовать в различных шахтах.

1967 год, маленький заводик в пригороде Ленинграда, зарплата инженерно-технических работников от 100 до 150 рублей в месяц, зарплата рабочих в среднем 250 рублей в месяц, после каждой получки завод три дня простаивает, так как рабочие пьют и на завод обычно не приходят. И, тем не менее, выработка одного рабочего в месяц составляла 1200 рублей. Напомню, что уволить в те времена никого было нельзя, ибо везде, всегда, всюду только требовались люди, а если уволить, то другого не найти. Гегемоны процветали, инженеры - хирели, производство вперед не продвигалось.

И вот бывший главный инженер с пятиклассным образованием придумал: чтобы поднять дисциплину, надо иметь безработных, своих безработных, и самим платить им пособия по безработице. Поделится мыслями со мной, я одобрил его "проект" (тогда проектов не было, были лишь мысли). Да, запил, выгоняем, платим пособие, например, сто рублей в месяц. И так пять-десять наших своих безработных уже повысят дисциплину, и уже не будет этих прогулов после каждой получки. $3+3=6$ дней в месяц.

Дневная выработка одного рабочего $1200:(30-8-6)=1200:16=75$ рублей в день.

То есть один рабочий за 6 непрогульных дней даст доход $75 \times 6 = 450$ рублей в месяц. А 200 рабочих, наша численность, дадут доход $450 \times 200 = 90000$ рублей в месяц. Итак, убыток 100 рублей \times 10 рабочих = 1000 рублей, а доход - 90000 рублей.

Задача для четвертого класса сельской школы. И это еще раз показывает, что уметь считать до трех достаточно пятиклассного образования, совершенно не обязательно высшее. Две извилины в мозгу, и все решается.

Далее, любого нашего запившего рабочего переводим в безработные, а "исправившегося" безработного берем на его место, то есть имеем свой резерв на замену провинившихся.

В те годы уже начали раздаваться голоса, что пьяниц надо увольнять. Но жалко их, и где взять фонды на их прокормление, нет, бывший главный был умнее тех политиков, газетчиков, правителей, советчиков, демагогов.

Улица Желябова, Дом природы, рядом куча щебенки и два мальчика по обе стороны этой кучи, одному года два, а другому уже лет пять, и никакого взрослого сопровождения. Смотрю: пятилетний берет эти камни и бросает в двухлетнего, а тот ничего не понимает и никак не думает защищаться. Подхожу к пятилетнему, делаю замечание, поясняя: ты же убьешь его.

Отхожу на 10 метров, оборачиваюсь, мое внушение не помогло, опять кидает камни. Возвращаюсь и, взяв его за плечо, делаю более серьезное внушение. И тут замечаю, что меня окружают женщины, их становится все больше и больше. Это ваш ребенок? Нет. Не троньте его. Пытаюсь объяснить ситуацию. Но это совершенно бесполезно. Инстинкт толпы вообще ужасен. Смысла там нет никакого. Там слились материнское чувство, коллективизм, женская солидарность, чувство исполняемого долга, сознание своей правоты, чувство ответственности за малолетнее поколение и т.д. и т.п. И мне ничего не оставалось, как с трудом вырваться из круга разъяренных женщин и как можно быстрее ретироваться с этого поля битвы. Что было потом с этими детьми? Но женщины одержали полную победу всего за несколько секунд.

Когда мне стукнуло 45 лет, а зарплата была уже более двухсот рублей в месяц, я решил, что надо попробовать проситься за рубеж. Первый выезд - только в Болгарию, и вообще выезды лишь в страны социализма не чаще, чем один раз в два года. Подал заявление. Собрание лаборатории. Отпустить ли, рекомендовать ли. Решили отпустить, голосовали. После чего ко мне подходили каждый из голосовавших со списком, что я ему должен привезти из Болгарии. Я понял, что мне понадобится грузовик и мешок денег. Далее - профком, комиссия, выучить и сдать экзамен, что делается в Болгарии и как она успешно строит социализм. Выучил, сдал. Далее - партком, хотя я всегда был беспартийным. Там тоже экзамен и всесторонняя проверка. Далее, все собрано, все подписи поставлены, много-много бумаг, все это надо отвезти в райком партии. Там тоже комиссия. О чудо, меня пропустили. Все печати поставлены. Все это везу во Дворец Труда, где заседают туристические комиссии. Мои бумаги принимают, жду. И вдруг известие: Болгарии нет, мою путевку отдали девочке, она очень хотела в Болгарию. Я взмолился, почти стоял на коленях, ну дайте что-нибудь,

любую страну. Дали Польшу, ибо при жесточайшем социализме на все разрядка: в группе должно быть мужчин столько-то, женщин столько-то, с высшим, без высшего, партийных, беспартийных, рабочих - не менее и т.д., попросту в польской группе не оказалось именно такого охламона, как я.

Поехали. Со мной в номере, в купе были молодой человек и гегемон - рабочий, которому путевку навязали бесплатно, мол, бабе своей что-нибудь купишь. И мне этот рабочий рассказал, что молодой человек - милиционер и ежедневно проверяет мои вещи.

А если на меня плохую характеристику напишет руководитель группы, то больше никуда никогда не поедешь, но все равно было очень интересно, необычно, и эти истертые пачки злотых, которые были в несколько раз дешевле наших рублей, и все надписи не русские, и речь необычная. Побывали в Кракове, в Варшаве, в Познани и в Закопане. Последнее - это курортное местечко с очень смешными домами, по ширине дома всего три окна, а в высоту четыре и более этажей, дома - пики, скосы крыш - не менее половины высоты дома. А сидя там, в кинотеатре, смешно, половину текста удавалось понимать. И это именно в Польше. Необычного было много по сравнению с нашей страной.

Когда мы туда ехали, нас пугали, что там забастовки, голод и прочее, и берите с собой бутерброды. Оказалось: мясо во всех магазинах с утра есть всякое, а вот после обеда уже только второго сорта. А овощи и фрукты всякие, чистые и много. У нас тогда такое и присниться не могло. Одним словом, вся эта учеба, проведенная с нами во Дворце Труда, оказалась никому не нужной. Везли с собой открытки, ибо только их и рекомендовали везти, и оставляли их там на столах, ибо они там никому не были нужны.

В другой поездке в социализм меня назначили руководителем сувениров, и я скомандовал: водку и шоколадные конфеты, никаких открыток, никаких значков. И все наши гиды и гидессы были весьма довольны нашими "сувенирами". Огонь я всегда принимал на себя, за что и был бит всю жизнь.

Прошло не более полугода с момента полета Гагарина в космос. Еду в дальнем сидячем поезде. Рядом совсем молодой морячок. Думаю, надо разговориться, о чем? Ну, о том, что все знают. Начинаю про космос. Молчит мой

приятель. Тогда перехожу на самого Гагарина, мой попутчик молчит, как рыба об лед. Спрашиваю: про Гагарина слышали? Отвечает: а кто это такой? Я в изумлении, да вы-то сами откуда? Отвечает: из речного училища и называет город на Волге. Спрашиваю: и газет у вас там нет? Отвечает: а зачем они. Подивился я тогда волжской глухомани.

Восьмидесятые годы, едем в Прибалтику, недалеко от вожделенной границы останавливаемся и заходим в российский магазин, где продают и продукты и промтовары. И всем этим делом заправляет одна-единственная продавщица. Спрашиваем хлеб, его нет, он бывает лишь два раза в неделю, сыра, колбасы, масла тоже нет. На полках лишь рыбные консервы, соль и кое-что из промтоваров, тоже не густо. Магазин нас разочаровал, но вид продавщицы озадачил: молодая, сияющая, в лице что-то надменно-хитрое, и гордость Екатерины II, по крайней мере.

Думал я думал, почему так? Да очень просто. Она в этом селении вроде министра торговли, может кому-то припрятать буханку хлеба, а другому - нет, для одних оставить два килограмма сахара, а другим - нет, перед ней заискивают все селяне, она - человек с большой буквы, и все это ее величие отражается у нее на лице.

Едем дальше и через каких-нибудь тридцать километров, оказывается, уже пересекли эту невидимую границу с той самой обетованной Прибалтикой. И встречается нам первый их магазин. Заходим, то же самое, одна продавщица на продукты и промтовары. Продавщица скучная и подавленная, веселости никакой, а в магазине есть и хлеб, и масло, и сыр, и колбаса, и все это нескольких сортов, и крупы, макароны, сахар, мясо, а промтоваром забиты все полки до предела.

Берем, что надо, едем дальше. И вот я думаю: а почему же она такая невеселая? А что за радость сидеть одной целый день в большом магазине и обслуживать редких покупателей, конечно, ничего веселого.

Шестидесятые годы, рассказ бывшей официантки ресторана.

Мы посетителей делим на три категории: военные, бандиты и дураки.

Военные - у них смысл в этом, получают больше граж-

данских в 2-3 раза, ну и ходят в рестораны, часто компанией. Ну и чаевые дают, так что с ними все в порядке.

Бандиты, мы их знали, но никогда не выдавали. Эти ходили редко, лишь после удачного дела, но тогда уже несколько дней подряд могли посещать ресторан, а то и месяц, и два месяца их нет. Чаевые хорошие давали.

А дураки - это кто институт закончил, или диссертацию обмывает, или старого академика юбилей справляют, или еще кто после полочки, командировочные, с севера и т.д.

Ну эти напьются, и берешь с них в полтора-два раза больше, чем они наели-выпили. Все равно они уже плохо соображают.

А если из посетителей-одиночек кто-либо начинает права качать, что больше ему насчитали, тогда иду к столику с бандитами и говорю: ребята, успокойте вон того типа. И они берут его под руки, вытряхивают все из его карманов и выводят из ресторана так, что у того все кости переломаны, ну а "скорая" подберет пьяного, избитого, без сознания, так кто виноват? Сам и виноват, зачем напивался.

Бандиты всегда нам помогали, за это мы с ними и дружили, и чаевые хорошие давали.

Один старый коммунист доказывал мне, что раньше было хорошо, а теперь при "дерьмократах" плохо. И в доказательство рассказал, что в те времена, когда в магазинах ничего не было, случилась у него командировка в Москву. И он три дня подряд был вхож в кремлевскую столовую. И взахлеб 2 часа перечислял, что там было, а главное, зимой была даже свежая земляника. Это, видимо, совсем добило его. И он даже матери дал срочную телеграмму, чтобы она приехала с деньгами, и лишь вдвоем они могли увезти все закупленное в этой столовой. И этот случай был единственный в той его счастливой жизни, но "жизнь была хорошая".

Знал я женщину, не коммунистку, тоже утверждающую, что раньше было хорошо. Почему. А потому, что ее муж работал в министерстве и раз в месяц из какой-то закрытой столовой приносил курицу. Ни у кого не было, а у них была курица. И поэтому они были лучше всех и жили хорошо.

И сделал я вывод: когда у всех есть - это же неинтересно, не впечатляет, быть равным, одинаковым - это скучно, вот быть лучше других - это хорошо. А точка от-

счета не так важна. Если все живут в сырой землянке и у всех по одному одеялу, а вот у тебя - сразу два одеяла, ты уже счастлив, потому что - лучше других.

Что такое ЦБК - это целлюлозно-бумажный комбинат. Мне удалось, извиняюсь, посчастливилось, побывать всего лишь на трех из них, это в Светогорске, Балахне и Братске. Эти комбинаты занимают площадь иногда в несколько квадратных километров. Как они выглядят? На территории там и сям расположены громадные грязно-серые здания, без окон, высотой до двенадцати этажей. Множество труб торчит по всей территории, и из каждой дым разного цвета, а запах отвратительнейший. Вся территория изрезана дорогами, а поперек них - железнодорожные рельсы. Вся территория опутана, наполнена массой трубопроводов различного диаметра. Трубы стелятся над землей, а где дороги - они перекинуты над дорогой на высоте 4-5 метров. Все эти трубы сочатся и текут. Не сильно, но капает. Из одних капает кислота, которая растворяет не только одежду, но и тело, а из других капает всего лишь щелочь, совсем не такая опасная. И вот когда идешь под пучком этих труб, надо заметить, где капли меньше или вовсе нет, и быстро пробежать в том месте. Но при этом надо постараться быть не сшибленным паровозом, движущимся перпендикулярно к дороге. Выехавшая из-за поворота машина тоже может сбить. Одним словом, благополучный переход от одного конца завода до другого без издержек моральных, нравственных и материальных выпадает на долю немногих.

Я всегда был любопытен, любил везде и все изучать. Захожу в один из цехов, помещение в длину метров 200, сделал я шагов 15 и получил ожег легких, вроде мне в них кипятка плеснули. Сразу же я пошел назад, но запомнил, там же были люди, не много, человек 5 всего, но как же они дышат, или приспособились?

Я не успокоился, пошел в другое здание. Поднимаюсь по широкой лестнице, первый, второй, третий, четвертый этаж, до верха еще далеко, и вдруг сверху раздается шипение, и на меня ползет пена, заполняющая полностью весь лестничный пролет. Я, конечно, диранул вниз и бежал, надо честно сказать, быстрее лани, и быстрее этой все заволакивающей пены. Она меня не догнала. Она опустилась до второго этажа и остановилась. Я был спасен. Но потрясение осталось. Потом я прашивал местных работников, что это такое. Они просто ответили, что та-

кое бывает и довольно часто, но это не страшно, потому что через день-два она осядет и по лестнице снова можно будет ходить. Подивился я всему этому.

А на одном комбинате мне рассказали, что в пульте управления, красивом таком, дежурили четыре человека, и однажды вентиляция стала работать в другую сторону, они попадали на пол без сознания, но один из них, силой воли дополз до двери и головой открыл ее, и это спасло всех четверых. Я спросил: но у вас, наверно, зарплата как в Братске, в тысячах рублей. Нет, ответили они, всего 130 рублей в месяц.

Не могу понять, почему киношники для съемок фильмов ужасов не используют наши ЦБК, ведь и декораций строить никаких не надо. Видимо, просто не знают, что у них есть такие великолепные возможности.

“Сочинения” Г.М. далее приобретают все более жутковатую сюжетность. По жизни. Как есть. Мы еще встретимся с нашим “начинающим” автором на страницах журнала. Вспомним с ним себя для себя -Ю.З.



ВОЛНЫ СВОБОДЫ

Новая книга Евгения Борисовича Рашковского называется *“Осознанная свобода. Материалы к истории мысли и культуры XVIII - XX столетий”* (Москва: “Новый хронограф”, 2005). Она является продолжением его предыдущей книги *“Профессия - историограф. Материалы к истории российской мысли и культуры XX столетия”* (Новосибирск: “Сибирский хронограф”, 2001). И первая и вторая книги Е.Б. Рашковского - это, конечно же, не просто материалы для построения российской истории мысли и культуры. Это замечательные образцы культуры мысли и мыслительной культуры.

Читатель нынешнего молодого поколения, в отличие от тех, кто в советские времена заканчивал высшие учебные заведения, может не помнить марксистскую формулу, экспропрированную Энгельсом у Гегеля: “свобода есть познание необходимости”. “Познание необходимости” - это не свобода, а лишь условие свободного действия. “Осознанная необходимость” - вообще безысходное рабство. Свобода не может быть без прорыва через необходимость, прорыва объективного или субъективного. Но открытые ворота - еще не свобода. Свобода - не произвол прихоти и не прихоть произвола. Произвол творится рабом прихоти. Человеческая свобода должна быть *осознанной свободой*.

Такие мысли навеяло само заглавие книги: *“Осознанная свобода”*, казалось бы, простое, но впервые, если я не ошибаюсь, зазвучавшее на переплете книги Е.Б. Рашковского, вознесенное над светлой дорогой, идущей между тесными рядами высоких деревьев. Уже вчитываясь в книгу, обнаруживаешь, что интуиция тебя не обманула. Сам автор пишет: “Тысячелетиями мучающий богословов и философов вопрос о соотношении Провидения и свободы так и остается открытым. На то она и свобода. Но, чтобы выразить себя достойно и не по-рабски, она должна проявлять себя как *осознанная свобода*. Но уж никак не “осознанная необходимость”” (с. 16).

Книга Е.Б. Рашковского - не теоретическое исследование феномена свободы как таковой. Она посвящена многообразному проявлению свободы через ее осознание в истории духовной культуры, описываемой в данном случае не как “корпускулы объективности”, а как “волны свободы”. Перед читателем возникает громадная панорама различных вариантов осознания свободы Державиным и Гегелем, Мицкевичем и Пушкиным,

Петром Лавровым и Владимиром Соловьевым, Михаилом Гершензоном, Махатмой Ганди, Борисом Пастернаком. Последняя часть книги названа “Очные ставки”. В ней идет речь о наших современниках, так или иначе осознававших захлестнувшую конец XX века “волну свободы”. Это труды академика-востоковеда Н.А. Симония, книга М.А. Сиверцева “Харизматическая культура”, слова прощания с Германом Дилигенским, востоковедный аспект творчества Сергея Аверинцева и очерк о соотношении истории и свободы в жизни, деятельности, трудах Александра Меня.

Как же Е.Б. Рашковский совершает, вопреки Козьма-Прутковскому запрету, это объятие необъятного? Несмотря на необычайный разброс имен и сопряженных с ними событий, книга обладает внутренним единством. Прежде всего, через все исторические “бусинки” протянута нить идеи осознания свободы, идея, которая у каждого выступает как своеобразный “эйдос”, т. е. как идея в ее мыслительной конкретности. Придает единство множеству разнотемных эссе и сама личность их автора. Мастерски набросанные им портреты - это одновременно и его автопортрет. Читатель чувствует личностное начало автора и в самом выборе героев повествования, в постановке той или иной проблемы, в его философско-мировоззренческой и ценностно-оценочной ориентации, пронизывающей всю книгу, в уникальной эрудиции, в языке, точно фиксирующем не только мысли, но и их оттенки, наконец, даже в том, что некоторые эссе завершаются тонкими стихами автора, как эссе о “Феноменологии духа” Гегеля, стихами, посвященными Герману Дилигенскому. Текст “Об Адаме Мицкевиче. Ямбическое действие” в основном - “субъективные заметки в стихах”.

В книге цитируются стихи Державина, Пушкина, Вл. Соловьева, Пастернака. И хотя многие из них хорошо известны, в контексте повествования они обретают новое звучание, раскрываются неожиданными гранями. Некоторые библейские тексты и стихи чилийского поэта Антонио Вьейры приводятся в авторском переводе.

Помимо сквозной идеи книги - осознание свободы, эссе Е.Б. Рашковского содержат много сопутствующих мыслей, выстраданных автором и часто афористически формулируемых. Вот некоторые из них. В одном из очерков о Пушкине мы читаем: “катарсис - не снятие противоречий, но просветление и освящение их боли в нашем сознании. Но это уже дальнейшее обетование свободы. Прославление свободы. Восславление свободы” (с. 86).

Обсуждая понятие харизмы в рецензии-эссе “Печать постмодерна, печаль постмодерна”, Е.Б. Рашковский предлагает свое определение понятия “святыня” как “смешанное чувство страха и благоговения перед невыразимыми началами космического, природного и человеческого бытия, - началами, которые, образуя собою Бытие, тем не менее, превыше и таинственнее любых его проявлений” (с. 214).

В превосходном очерке об историке и философе Михаиле

Гершензоне - исследователе Чаадаева и ранних славянофилов, инициаторе знаменитого сборника "Вехи" - в разных аспектах ставится вопрос о судьбах русской интеллигенции. Мне импонирует взвешенная позиция Е.Б. Рашковского. Отвергая глумливую критику "Вех" "советской наукой", он, вместе с тем, не присоединяется к ныне модной веховской критике русской интеллигенции, справедливо, на мой взгляд, утверждая: "Российская история XX века удостоверяла, что интеллигенция оказалась не только фактором разломной, "раскольной" ее динамики, и даже не только структурно необходимым ее моментом, но и неотъемлемой частью ее преемственности и традиций" (с. 160).

В очерке о Махатме Ганди дается глубокая характеристика революционного и консервативного "политического дискурса", а также диалектического перехода одного в другой. Вместе с тем, отмечается существование "идеологического монстра", именуемого "революционным консерватизмом", или "консервативной революцией": "В его основе лежит идея возвращения к реальным или вымышленным культурно-историческим традициям на путях массового насилия и отмщения" (с. 166). Засилье такого рода идеологии в Веймарской республике, как правильно отмечается, определило трагический ход истории Германии и всей Европы. Этот урок истории становится, к сожалению, актуальным для пост-коммунистической России, где среди некоторых политических кругов становится популярной идея "консервативной революции".

Проблематика современного состояния российского общества в аспекте осознанности свободы пронизывает очерк "ИСТОРИЯ И СВОБОДА: Александр Мень и культурные горизонты России конца XX столетия", очерк, написанный не только на основе историко-документального материала, но и включающий в себя память о личном общении автора книги с о. Александром и с его "дискурсом свободы" (с. 246).

В послесловии к книге Е.Б. Рашковский дает свое понимание свободы в виде риторического вопроса: "А что есть свобода, как не собственное переживание и попытки осознания полноты, противоречий и внутреннего богатства Бытия во мне и в другом человеке вместе с правом на таковое переживание и осознание?" (с. 252). "Ибо без опыта самосознания даже сама свобода - один из главных даров человеку - рискует обратиться в подобие бэконовского идола" (с. 253), т. е. в пустой призрак.

В книге "Осознанная свобода" нет "пустой породы". Она предполагает "медленное чтение", труд души, к которому призывал Николай Заболоцкий ("душа обязана трудиться"). Но этот труд души станет частицей "осознанной свободы" читателя.

Леонид СТОЛОВИЧ,
доктор философских наук

ГИПОТЕЗА ОБРАСТАЕТ “ПЛОТЬЮ”

Давно (однако в *наши* времена) стала шаблоном фраза “история не терпит сослагательного наклонения”. Терпит. Как, например, гипотезу - историю литературы. Терпит. Поскольку это метод познания. Метод открытий. В том числе самих себя. И - может быть, образы и подобию, сослагательные наклонения, разные невероятные гипотезы более полезны для нас и спасительны, и поучительны, чем так называемые “уроки” истории, до сих пор ничему не научившие человека за тысячелетия его существования.

“Царство Гипотезы” таит в себе “бесконечные возможности исследования мира и человека”. В этом убеждена Лариса Ильинична Вольперт, доктор филологических наук, автор монографии “*Лермонтов и литература Франции (в Царстве Гипотезы)*” (Фонд эстонского языка, Таллинн 2005; при поддержке фонда Kultuurkapital).

Честно сказать, одной гипотезы, пришедшейся ко двору не только нам, но и Л.В., я весьма и весьма побаивалась. Поскольку ранее никто из ученых ею не заинтересовался: у них, как говорится, в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Тем более, что странное сообщение “Привет” Лермонтова” появилось в 1964 году в парижском эмигрантском журнале “Военно-исторический вестник” за подписью никому из литературоведов не известного Щиткова. Да и Сергей Викторович Безбережьева, профессиональный историк и дипломат, некоторое время работавший в Российском посольстве в Таллинне, долго не осмеливался “влезть в лермонтоведение”, напав на сию любопытную заметку. Якобы еще в 64-м в частной коллекции эмигранта Джаншиева хранилась серебряная кустарная чарка, которую летом 1837 Лермонтов, сосланный на Кавказ за непозволительно вольнодумный стих “Смерть поэта”, отправил своему другу Святославу Раевскому - в его петрозаводскую ссылку за распространение этих строк - с выгравированным на ней своим портретом и строками “Я здесь за то...”

В 2002 году С.В. Безбережьева написал нам из Москвы, что на обнаружение давным-давно забытой находки его подтолкнули и наилучшие личные воспоминания о Петрозаводске, и “упоминание имени великого русского поэта в сводке политических новостей” (во Львове после теракта в Москве, на Дубровке, улице “Джохара Дудаева” жители вернули имя Михаила Лермонтова). Статья С.Б. “Кавказская чарка. Еще одна лермонтовская реликвия?” (“Вышгород” 3,2003) вызвала незамедлительный отклик Ларисы Ильиничны Вольперт со своими очень интересными “встречными мыслями”.

Зерно “небезусловной” гипотезы легло в благодатную и давно обихоженную почву более обширной, много лет вынашиваемой научной гипотезы, теперь уже бесспорного открытия одного зашифрованного цикла лермонтовской лирики. Аргументы “за” и “против” подлинности чарки (и вообще кто ее видел?) приводились в небольшой заметке Л.В. “Я торжествую и горд душой...” (Лермонтов, Пушкин, Андре Шенье): “Вышгород” 6,2003. Она соотносила этот “возможный” подарок с потребнос-

тью Лермонтова иносказательно заявить о необходимости своего “отмщения”, о чем он тем же эзоповым языком в 1839 году повторяет и в поэме “Сашка”, обращаясь к неотмщенному пушкинскому Андрею Шенью. Эти соображения, включенные и в книгу, несомненно - плод многолетних глубоких исследований, раздумий и диалогов, согласий и несогласий с известными лермонтоведами. И с учетом прежних - в течение всего XX века - разработок, изысканий, предположений и догадок-озарений.

Первую часть книги автор построила как “Творческие усвоение, переплавка, синкретизм”.

“Проблема Лермонтов и французская литература изучена недостаточно”, пишет Л.В., и при минимальности даже биографического материала “особую значимость приобретает гипотеза как метод реконструкции и осмысления фактов”. Методу, настолько он важен, посвящен целый раздел, поскольку “феномен гипотезы в литературоведении изучен слабо”, да и сам “термин отсутствует”, хотя это - “сложный прием, включающий в себя как выдвинутое предположение, так и последующее доказательство”.

Доказательства, опирающиеся на исследования собственные и коллег-“первопроходцев”, находятся - все новые и новые. Это нелегкий поиск.

“В советские времена “пионеры” в изучении темы (Дюшен, Дашкевич, Родзевич) неоднократно подвергались суровой критике”, считалось, что “сравнительно-сопоставительный метод” искажает представление “о самобытности Лермонтова”. Конечно, имелось в виду “воздействие” на поэта западноевропейской литературы, что маркировалось “космополитизмом”! (Жуткие гонения с конца 40-х по конец 50-х.) Поэтому труд замечательного ученого Б.В. Томашевского “Пушкин и Франция” смогли издать только в 1960 году, уже после его ухода из жизни (как думал Ю.М. Лотман, сознательного).

Вот как раз в 60-е, когда Лариса Вольперт “прошла по курсу на кафедре русской литературы Псковского педагогического института”, Юрий Лотман посоветовал ей взяться за ту же тему - Пушкин и Франция. Слово Ю.М. Лотмана, датированное августом 1993, незадолго до его ухода из жизни, и открывает книгу Л.И. Вольперт “Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. Пушкин и Стендаль” (“Языки русской культуры”, Москва 1998).

В своей новой книге Л.В. через “Сопоставление с Пушкиным”, Учителем, *старшим* поэтом, доказывает, что *младший* поэт “усваивает европейский опыт творчески, по-своему, оригинально переплавляя предыдущую традицию”. Поэзию Шенью он воспринимает, по предложению Л.В., “как исключительно себе близкую, а трагическую судьбу казненного поэта - как один из возможных вариантов своей собственной. /.../ Имя Шенью используется Лермонтовым в пушкинском “ключе” как мифологема, символизирующая настроения эпохи”. Глава “Тайный” цикл Андрей Шенью в лирике Лермонтова” дает полное представление об этом.

“Образ мести” занимает его и позже. В марте 1840 года Лермонтов в записке с гауптвахты, куда он попал за дуэль с

Э. де Барантом, просит С.А. Соболевского: “Пришли мне, пожалуйста, с *сим* кучером “*Sous les tilleuls*”. Так и называется глава, излагающая “конструктивную” гипотезу о “генезисе” романа Лермонтова “Княгиня Лиговская”, который “несет печать литературного авторского биографизма” (любовная история, предательство, месть). В сравнительном прочтении Ларисы Вольперт “перекличка” прозы Лермонтова с романом А. Карра “Под липами” (*Sous les tilleuls*) - предметом шумного успеха в те годы и удостоенного похвалы Пушкина - становится очевидной. Аргументы настолько доказательны, что сомнений быть не может: право первенства настоящего открытия принадлежит Л.И. Вольперт. По своей авторской щедрости право прочесть эту драматичную литературную историю Лариса Ильинична предоставила читателям незадолго до выхода книги: “Вышгород” 5-6, 2004 - “Просьба с гауптвахты”.

В научном исследовании о *втором великом младшем поэте* Л.В. настоятельно прослеживает его личное активное участие и чуткое сострадание-поступок в современных ему “переломных” исторических событиях. Лермонтов - с его кавказской кампанией - созвучен Л.Н. Толстому. (Правда, обойденный наградой за храбрость, вычеркнутый из списков, он - в отличие от Пушкина и Толстого - совсем недавно стал героем *нашего* времени. Новостные пиарщики “вбросили” слухи о том, что Лермонтов “получил” наконец какой-то орден. Не за “Валерик”, конечно. В том же 5-6-м номере (2004) мы перепечатали отрывок из поэмы, и один общественный деятель попенял мне за “преднамеренные сближения”. Хотя одновременно по ТВ процитировали ту же “злословную” часть. Гипотеза созвучности пророчеств тоже проходит! - Л.Г.)

Было бы чрезвычайно интересно проанализировать вторую часть книги “Лермонтов и Стендаль”. Это, по мнению автора, самый близкий ему духовно французский прозаик. “Фактологическая основа гипотезы: сюжетно-мотивные переклички”... Ни одного упоминания имени этого писателя у Лермонтова нет. Зато есть “типологическая общность” в описании битвы при Ватерлоо (“Пармская обитель”) и “страшной резни у “реки смерти” (“Валерик”). Что это - “общее место в поэтике “разоблачения” войны”? Или одно из глубочайших временных видений?..

Архитектоника гипотез (опорных и “разноплановых”, “разнокалиберных” - их гораздо больше) в конце концов увлекает глубоким проникновением в творческую биографию поэта, “осознанно” построенную им самим. Гипотеза обрывает “плотью”.

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ?

Жанровому разнообразию, диапазону интересов Леонида Наумовича Столовича, доктора философских наук, профессора Тартуского университета (не станем перечислять его многочисленные академические “звания”), можно, если не позавидовать, - искренне обрадоваться.

Отмечу всего несколько фундаментальных его работ.

Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. - М. Республика, 1994.

Философия. Эстетика. Смех. СПб. - Тарту, 1999.

Евреи шутят. Еврейские анекдоты, остроты и афоризмы о евреях, собранные Леонидом Столовичем. 4-е изд., доп. и изм. СПб. 2003.

Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии. - Таллинн, "Ингри" 2003. ("Вышгород" 5-6, 2004. Авторский экземпляр. Отзыв - "...тот прошлое помянет".)

Плюрализм в философии и философия плюрализма. Таллинн, "Ингри" 2005.

И переводы на разные языки; кроме эстонского, немецкий, испанский, венгерский, чешский, словацкий, китайский... Совсем недавно Л.Н. Столович как почетный профессор Нанкинского университета был приглашен коллегами в Китай.

Но пора сказать о новинке. Учебник мысли? Столь вольное определение только что поставленной на домашнюю полку книги, наверное, объясняется некоторой робостью подступить к ней.

История русской философии. Москва. Республика, 2005. 495 с.

Академическое издание, толстый том в твердой обложке, с краткой аннотацией-информацией о том, что в основном работа "посвящена философским течениям конца XIX - первой половины XX в." и что рассчитана книга "на преподавателей, аспирантов, студентов, на читателей, интересующихся историей русской философии и культуры". Ах, так - "и культуры"? Мы интересуемся. И если на дарственном экземпляре надпись - "от автора, отважившегося на этот труд", то и мы отважимся.

Тем более что сам Л.Н. Столович с первых же строк снимает наши сомнения.

"Прочитав первую часть заголовка этой книги - "История русской философии", - читатель может подумать, что перед ним академическое исследование или очередное учебное пособие по истории русской философской мысли. /.../ Однако автор просит обратить внимание на подзаголовок: "Очерки". /.../ Жанр очерка позволяет излагать историко-философский материал в свободной форме", со-причастно постигать "судьбы и творчество русских мыслителей, начиная с истоков отечественной философской мысли". И - "Автор будет вполне вознагражден за этот труд, если читатель почувствует то интеллектуальное, нравственное и эстетическое удовлетворение, которое постоянно испытывал он сам как исследователь, входя в этот удивительный мир русской философии".

Как развивалась философская мысль на Руси с XI по XVII век - от первых богословов и до мятежного протопопы Аввакума? Сквозь несколько столетий эстетические воззрения на "красоту" в Древней Руси, в "Повести временных лет", - совершенно логично отливаются в знаменитую формулу Достоевского: "Мир спасет красота" (глава "Поиски идеального начала"). Читаешь и понимаешь: конечно, автор имеет в виду совсем не тот шаблон, который взапуски прилагают сегодня к чему угодно восторженные оптимисты. Само изложение материала сно-

ва и снова заставляет задуматься над возмутительно опошленной избитой “истиной” и сравнить ее с той, от которой Федор Михайлович отрекся бы, если эта “истина вне Христа”, уж лучше бы тогда “оставаться со Христом, нежели с истиной”. То есть - с наиболее прекрасным, глубоким, разумным и совершенным началом. Поэтому - прежде всего, какая Истина и какая Красота?

Автор считает, что в этой формуле “сливаются воедино эстетические, этические и социальные воззрения писателя”, что она “восходит к любимому Достоевским Фридриху Шиллеру, который в эстетическом воспитании искал спасение от кровавых потрясений якобинского террора во время Французской революции конца XVIII столетия”. Но в отличие от Шиллера писатель исповедует добрую красоту - во Христе.

Переверните страницу и “услышите” возражения оппонента - философа К.Н. Леонтьева. Монография также знакомит со сторонниками идей Ф.Д., развивающими свои самостоятельные оригинальные теории. Отметим две части: “Философская система В.С. Соловьева” и “Развитие философии всеединства в трудах последователей В.С. Соловьева” (С.Н. Трубецкой, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, В.Ф. Эрн, Л.П. Карсвин; все они, как многие другие, возвращены истории русской философии не ранее 90-х годов прошлого столетия).

Подглавка об учении Вл. Соловьева о Софии (что означает Премудрость Божию) и Богочеловечестве насыщена связеобразующей информацией - от Софийских соборов на Руси до мистического видения философу в 1875 в Египте: “Вся в лазури сегодня явилась / Предо мною царица моя...”

“Ключевая для всей философии Соловьева мысль о едином Человечестве как Софии, т.е. как высшей мудрости Вселенной, актуальна и в наши дни. Ведь от того, насколько человечество осознает свое единство и целостность, зависит само его существование перед лицом грозящих ему военных и экологических катастроф”. Автор монографии подчеркивает, что русский философ рассматривает эту идею как “зерно великой истины”, как предмет “позитивной веры”, хотя и в чуждой ему “нехристианской “религии человечества”, изобретенной “безбожником и нехристом” Контом”. Вот действительно яркий пример того, что русская философия, при всей своей самобытности, проистекающей из православного любомудрия, - “прошла” и освоила, “претворяя” в себе, накопленную в мире мудрость. Недаром у того же Вл. Соловьева среди статей по истории философии (для словаря Брокгауза и Ефрона, где он с 1891 возглавлял отдел философии) - такие, как “Индийская философия”, “Кант”, “Гегель”, “Конт”...

“...одна лишь София есть существенная Красота во всей твари”. Это уже формулировка о. Павла Флоренского. Студентом физико-математического факультета Московского университета он одновременно слушает лекции друга Вл. Соловьева - Л.М. Лопатина и посещает историко-философский семинар С.Н. Трубецкого.

Даже знакомые, казалось бы, издавна имена в “Истории русской философии” Л.Н. Столовича приобретают живые черты и характеры. Нет, теория не мертва, если одни спасают человеческую душу ценою собственной головы, а другие, спасая голову, закладывают душу...

Диалог с властью - будь она прорубающей окно в Европу, “просвещенной” перепискою с Дидро и Вольтером, яркой ревнительницей передовых реформ - диалог с властью на протяжении столетий у великих русских мыслителей (даже если их идеи иногда совпадали с проправительственными) чаще всего заканчивался непониманием, и хуже того... У Новикова - Шлиссельбургской крепостью, у Радищева - Илимской вечной мерзлотой, а после помилования - самоубийством (Лотман считал это героическим актом); у “дерзостного” философа “сократовского типа” (авторское определение) Чаадаева - публичным унижением человеческого достоинства; у не согласного с ним, однако некоторые его взгляды разделявшего Пушкина (“...это отсутствие общественного мнения... равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной... Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили”) - убийством на дуэли... Обличитель самодержавия Герцен - в изгнании... Не находят общественной поддержки ни либералы-западники, ни патриоты-славянофилы...

В 20-е годы “Великий Октябрь”, возведя в официальную религию марксизм-ленинизм, пытается всячески пресечь русскую философскую мысль (“продавшуюся Западу”) или погубить ее на корню в собственном отечестве, или втиснуть в прокрустово ложе идеологических схем... На все это открывает нам глаза, обращая нас к первоисточникам, “История русской философии” Л.Н. Столовича, прерванная в этом томе (весьма символично!) также первой половиной XX века.

В 1922 держит курс на Францию (к своим “предшественникам” и со-искателям “идеального начала”) наш “философский корабль” с выдворенными из страны Советов учеными на борту. Им посвящены специальные главы: “Экзистенциальный персонализм Н.А. Бердяева”, “Абсолютный реализм С.Л. Франка”, “Духовный национализм А.И. Ильина”.

Погибают в советских концлагерях о. Павел Флоренский, Лев Платонович Карсавин (по его же термину, “симфоническая личность”), Густав Густавович Шпет, последователь Эдмунда Гуссерля и основатель русской школы феноменологии...

Лишь благодаря заступничеству Пешковой, Горького и А. Толстого не попал в Соловки арестованный в 1928 Михаил Михайлович Бахтин. Филолог и философ, автор непревзойденных работ о Достоевском и Рабле, только в 1986 году изданной уникальной рукописи о “философии поступка”, он отбыл казахстанскую ссылку, не имел возможности работать в “столицах” и был четверть века незаметным рядовым преподавателем (доцентом) Саранского пединститута... Ему, чье “творчество оказалось чрезвычайно актуальным”, отведен в “Истории” целый раздел: “Феномен Бахтина. Не-алиби в бытии и в чело-

вечестве. Философия диалога. Диалог с предшественниками и современниками. Полифонический плюрализм". Кстати, в монографии "Плюрализм в философии" (см. в начале) есть и "Философский полифонизм М.М. Бахтина".

Словом, автор, Леонид Наумович Столович, погружает нас в удивительный и трагичный, и дальнейшему познанию подлежащий мир русской философии.

ПОДМЁТНОЕ ЧТИВО

...И вот доблестная советская - ой, извините, русская! - разведчица (в этногенезе - агентурная шлюха) "валяется на полу микроавтобуса, а по обе стороны от нее сидят два молодых, судя по голосам, эстонца, способные сотворить с ней что угодно".

Смотрите далее страницы 244, 245 и 246 романа Сергея Донского "Умри сегодня и сейчас" (Москва, изд-во "Эксмо", 2004).

Автор скрывается за псевдонимом, потому что - объясняют на обложке с фотографией неузнаваемого человека без лица (затемнено, дабы не засветился!) - он "скромный человек, полковник", более 30 лет отдавший военной разведке и отмеченный "правительственными наградами". Большой спецгуманист "в штатском" щадит свою агентшу и не развивает сюжет со "что угодно". В романе и так "местные фашисты" (время наше!) пытаются русского Джеймса Бонда, засланного ФСБ в Эстонию с благими намерениями спасти мир... и т.д. (Медвежья услуга реальным службам.)

О том, как ангажированная современная российская литература строит "образ врага", в частности на примере Эстонии, у нас в журнале "Вышгород" № 5-6 за прошлый год поведал директор Института России и СНГ, член нашего редакционного совета Юхан Силласте в статье "Детектив с "нацистским" акцентом". Юхан Силласте цитировал эту "беллетристику", где отрицательные герои, всякие там "фюреры", "оголтелые отморозки" и прочие "не наши", наделены именами известных эстонских деятелей культуры.

Бывший полковник (ах, да, забыла, что там "бывших" не бывает) почетное задание даже перевыполнил. Он ради красного словца - поди, по привычке без спросу - прихватил часть сопредельной литературной территории и, безусловно, "сотворил с ней что угодно", в данном случае предусмотрительно переименовав писателя... В сем детективе "Умри сегодня" вдруг натыкаюсь на весьма знакомый текст. Похитители русской разведчицы, братья-близнецы, под наплывом террористических чувств придаются лирическим рассуждениям о запахах моря и жирной салаке.

" - Лучше понюхай, как хорошо морем пахнет, - предложил Яак..." (Высовывается в окошко микроавтобуса.)

" - Когда-то я написал такой стих... назывался "На Ряйме-раху морской аромат"..."

Ну, вряд ли Донской, или его московская команда, знает такое местечко. А вот журнал "Вышгород" 1-2,2002 кто-то из них "отследил", ведь только у нас впервые по-русски опубликована повесть Юри Туулика "Салака Мурика" (название в русском переводе). А в ней так:

" - Послушай, как хорошо море шумит... Когда-то ты написал такой рассказ... На Ряймераху шумит море"...

Приглянувшийся диалог списан и дальше, безусловно, "наложены" соответствующие краски - в духе времени и - фу-фу! - душка загнивающего социализма. Сравним. Разговаривают в повести Туулика брат и сестра.

" - А салаку больше не ловят.

- Да, так уж получилось. Пустеют рыбацкие деревни.

- Жаль, правда? ...Августовская салака была самая жирная... Когда коптили, не было слаще рыбы... Помнишь, к твоей свадьбе дядя накопил такую салаку, что ничего больше и не хотелось есть, кроме нее... копченая салака была ужасно хороша... На бабушкины похороны тоже салаку коптили. Но эта была не такой вкусной"...

А теперь разговор братьев-близнецов из романа "Умри сегодня".

" - Море пахнет не лучше и не хуже свинины, - глубокомысленно произнес Яак (они же сравнивали пленницу со свиньей - Л.Г.)...

Столь неожиданный поворот беседы заставил Пеэпа долго обдумывать ответ... (в отличие от "беллетриста" - Л.Г.)

- Да, ничего не поделаешь. Пустеют рыбацкие деревни.

- Жаль, правда?

- Зато мы теперь в Евросоюзе. Знаешь, как пишут о нас в газетах? Мол, гордо развевается над миром сине-черно-белый стяг морской державы!

- Еще как развевается, - мечтательно вздохнул Яак. - Августовская салака была самая жирная, верно? ...Когда коптили, не было слаще рыбы... Помнишь, к своему юбилею дед накопил такую салаку, что ничего больше и не хотелось есть, кроме нее... копченая салака была ужасно хороша... На бабушкины похороны тоже салаку коптили... Но это была не такой вкусной"...

Хороший приемчик. Жаль места. Да и незаслуженной рекламы. Но нас-то с Юри Тууликом они растиражировали (хоть и безлично!)... так что взамен еще один чудный примерчик. В рассказе "Салака Мурика" - продолжение диалога.

" - ...Гости на свадьбе вытирали свои жирные пальцы скатертью...

- Да ты что?

- Конечно. Люди разные бывают... очень хорошая копченая салака была на крестинах у Пихла Ййви..."

И в Донском "гости на поминках вытирали свои жирные пальцы скатертью..." Однако тут все объясняется просто.

" - Наверное, среди них были русские, - нахмурился Пеэп, пнув ногой пленницу. - Все они такие. Свиньи, просто свиньи.

- Конечно, - сказал Яак. - Но я вот еще что скажу, очень хорошая копченая салака была на похоронах кузена Кихла Йуви".

Заправив таким образом роман жирной толикой нацизма, Донской заканчивает кровавый детектив пассажем об "офицерской чести". Не догадываясь хотя бы о чести авторской, не говоря уже об авторском праве. Если бы такой суд чести состоялся, то сначала бы, конечно, разбирались, что это - плагиат или клептомания, пародийное злословие или подмётное письмо (в смысле - литература, чтиво), порочащее достоинство не только писателя имярек (кстати, братья-близнецы Туулики в детстве были угнаны фашистами с родного острова в Германию), но вообще ближайшего соседа. А у соседа, между прочим, в "Государстве Российском" есть и "родственники". Думается, суд авторской чести предписал бы уважаемому издательству избавляться от таких, как полковник Д., "обладатель черного пояса по карате".

На суде авторской чести мне также хотелось бы заявить, что воспринимаю страницы 244-246 в романе "Умри сегодня" как черную метку русскому журналу "Вышгород" (Таллинн, Эстония!).

Все это было бы смешно, когда бы не было так фальшиво. Но читатель российский издавна простодушен и доверчив. И убежден, что некий процент страшной правды Донской изобразил - "художественно". Когда я работала в советской прессе, меня старшая сестра спрашивала: "А какой там у вас в газетах процент правды?"

У сегодняшнего подмётного чтива, для которого по старым сусекам помели, проценты лжи явно перевешивают. Впрочем, настоящая русская литература ничего общего с этим не имеет.

А сей аноним Д... Маска, я тебя знаю!

Людмила ГЛУШКОВСКАЯ

△

БОРИС
БЕРНШТЕЙН
УВИДЕТЬ
ХЕРУВИМА

○

Недавно я прочитал в одном рассказе: “Ангелы так и выглядят. Наверное. Хрупкие, тоненькие, с голубовато-розовыми жилками, проступающими сквозь белую кожу, и золотыми локонами, стекающими от макушки во все стороны...”

Известно, что ангелы невидимы. Автор рассказа, надо полагать, имел перед глазами ангельские лики с какой-нибудь картины Филиппо Липпи или Сандро Боттичелли. А художники писали ангелов не только потому, что они художники и это - их работа, но прежде всего потому, что мы все подвластны диктатуре зрения и постоянно стремимся увидеть. Когда напряжение этого желания становится непереносимым, визионерам является некий образ. В иных случаях приходится эксплуатировать собственное воображение или пользоваться готовыми формами. Художник - главный агент этой визуальной воли. Пауль Клее однажды заметил, что дело художника - не повторять видимое, а делать видимым.

В этом смысле спрашивать о внешнем виде ангелов не вовсе неуместно. Действительно, как выглядят ангелы? Или, если сказать суше и строже - какими видели и видят ангелов? И почему такими, а не иными?

Почему, например, у Пушкина серафим - шестикрылый? Наблюдая птиц, можно заметить, что двух вполне достаточно, а с шестью крылами летать должно быть неудобно...

Наш постоянный автор Борис Моисеевич Бернштейн (Сан-Франциско), доктор искусствоведения, почетный профессор Эстонской Академии Художеств, снова предоставил нам возможность опубликовать одно из его интереснейших исследований. У него “вследствие случайной провокации написалась как-то статья о том, как выглядят ангелы и почему они выглядят именно так”. - Ред.

Серафимы упомянуты в Библии всего один раз - в видении пророка Исаяи. Вот это место.

“В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном... Вокруг Его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя каждый закрывал лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал” (Исайя, 6:1-2). Таково единственное описание реального вида серафима. Традиционное толкование поясняет необходимость шести крыл тем, что лицо следовало закрыть, чтобы не видеть Господа, а ноги - чтобы их не видел Господь. Таково, во всяком случае, традиционное объяснение.¹ Современные исследователи полагают, что ноги - скорее эвфемизм, а на самом деле крылья, останавливая взоры Господа, скрещивались чуть выше ног.²

Ветхий завет рассказывает о существовании других ангелов. Эти свидетельства легко развести на две группы. К первой принадлежат эпизоды космологического, всемирноисторического и этноисторического повествования. После изгнания Адама и Евы из рая Господь поставил у сада Едемского херувима - *“чтобы охранять путь к дереву жизни.”* Три ангела являлись праотцу Аврааму под дубом Мамврийским. Иаков целую ночь боролся с ангелом. Как они выглядели, ни в одном случае не сказано. Неизвестно, были ли у них крылья. Частичные очертания ангельских существ проступают в божественном проекте ковчега завета: *“И сделай из золота двух херувимов; чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края; выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу; к крышке будут лица херувимов”* (Исход, 25:18-20). Тут появляются крылья, которые будут упомянуты и позднее. Но никаких других деталей. Перечтите стихи с описанием ковчега и скинии - вы увидите, что поэтическая ритмика и торжественность повторов не мешают подробной вынятности описания. Если о херувимах ничего более не сказано, то это нетрудно объяснить: Господь знает, что Моисею известно, как выглядят херувимы, известно это было и мастеру Веселиилу, которому было поручено реализовать проект. Тут мы больше ничего не узнаем.

¹ См., например, *“Иллюстрированную полную популярную библейскую энциклопедию”* (Труд и издание Архимандрита Никифора. М. 1891).

² Так говорит *The Oxford Companion to the Bible* (New York, 1993).

К другой группе нужно отнести пророческие видения. Событие видения выражается прежде всего в видении. Зрительное начало тут на первом месте. Поэтому описанием внешнего вида серафимов мы обязаны видению пророка. То же с херувимами. Другой пророк, Иезекииль, оставил подробный словесный портрет, из которого я процитирую только часть: *“облик их был как у человека; и у каждого - четыре лица, и у каждого из них - четыре крыла; а ноги их - ноги прямые, и ступни ног их - как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь... Подобие лиц их - лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех... а с левой стороны - лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех... И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня”* (Иезекииль, 1: 5-7, 10, 13-14). Из главы 10 той же книги выясняется, что это херувимы (“керубы”).

Небесный посланник явился однажды пророку Даниилу. Он выглядел как *“муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело его - как топаз, лице его - как вид молнии; очи его - как горящие светильники, руки его и ноги его по виду - как блестящая медь, и глас речей его - как глас множества людей”* (Даниил 10: 5-6). Множество ангелов было явлено Иоанну Богослову на острове Патмосе - перечтя Откровение, однако, замечая, что их внешность немного добавляет к известным до того описаниям вида ангелов, некоторыми прежними образами Иоанн явно пользовался, когда выстраивал свой рассказ. Правда, там есть любопытные отличия, но разговор о них увел бы нас в сторону от темы.

Итак, небесные посланники, какими они изображены в Библии, отличаются от людей - они огромны, многолики, светлы, странны и страшны видом, нередко они даже соединяют человеческие и звериные черты. В поздней, неканонической книге Товита появляется ангел по имени Рафаил, но он, посланный Богом в помощь праведникам, **принимает** вид человека; каков его подлинный облик - не знает никто.

Библия прямо не сообщает о ранге ангелов в небесной иерархии. Можно заметить, что херувимы и серафимы ближе всех к Богу. Но в общем, похоже, соотношение небесных чинов мало занимало библейского повествователя. Апостол Павел в послании к колоссянам назвал еще престолы, господства, начальства и власти (1:16). Но и тут неясно, кто из них выше по рангу, а кто ниже. Известны

другие опыты систематики ангельских сил. Окончательно число рангов и их места в небесной иерархии были установлены сравнительно поздно. Было несколько попыток, наиболее авторитетной стала идея анонимного автора, который скрыл себя под именем Дионисия, члена афинского ареопага. Этого Дионисия упоминал в своем послании апостол Павел и, следовательно, афинянин был современником апостола, человеком I столетия. Но, как было выяснено, приписанные ему сочинения появились существенно позже, не ранее V века - до того о них никто не упоминал, тогда как с этого времени они становятся чрезвычайно влиятельными документами восточного богословия, а после их перевода с греческого на латынь в IX веке - и западного. Имя подлинного автора так и не установлено, поэтому его называют условно - Псевдо-Дионисием, но его творения, по сложившейся ранее традиции, - ареопагитиками. Так вот, в сочинении "О небесной иерархии" Псевдо-Дионисий установил девять ангельских чинов, начиная с низших - ангелов. Далее следуют архангелы, начала, это первая группа, выше - власти, силы, господства, еще выше - престолы, херувимы. Серафимы были помещены на самом верху ангельской лестницы.

Пушкинский "Пророк" вдохновлен строками пророка Исаяи и потому его шестикрылый серафим - библейский, "доареопагитический". Теперь пора продолжить цитату из Исаяи, с которой я начал.

"И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть будете, и не увидите" (Исайя 6: 5-9).

Зависимость пушкинского "Пророка" от библейского текста очевидна каждому, кто помнит стихотворение - хотя с устами пророка пушкинский серафим поступил иначе, а горящий уголь получил другое назначение:

*И он мне грудь рассек мечем,
И сердце трепетное вынул,*

*И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.*

В советской школе на эту явную зависимость обращали мало внимания, зато сегодня на нее указывают даже в интернетском сборнике шпаргалок для ленивых учеников.

Но в стихотворении есть отзвуки других библейских ситуаций.

Как видно из приведенных выше строк Иезекииля и Даниила, явление Бога или божественного посланника предшествует или сопутствует пророческому служению не только Исаяи, но и других пророков. При этом рот - "уста" - играет особую роль. Пророк будет обращаться к людям устами, они не могут быть нечистыми. У Пушкина:

*И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый...*

У Исаяи эту функцию очищения рта выполняет горящий уголь. Но вот Иеремия: *"И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я вложил слова Мои в уста твои"* (Иеремия, 1:9). Особо замечателен поворот событий в видении пророка Иезекииля. *"Глас Глаголющего"* велит ему: *"говори им слова Мои"*, и далее, как последнее приготовление к исполнению миссии, требует: *"открой уста твои и съешь, что Я дам тебе"*. *И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней - книжный свиток... и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: "плач, и стон, и горе" ... И сказал мне: "сын человеческий! Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе"; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: "сын человеческий! Встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами"* (Иезекииль, 2:8-10; 3:3-4). И тут в фокусе уста, хотя их приготовление к пророческому служению не сводится к очищению огнем. Они в буквальном смысле принимают в себя слово Господне - с тем, чтобы оно телесно вошло в пророка, стало его плотью, отложилось в клетках его организма. Аналогичный акт съедения книги, которая "в устах сладка, как мед", записан в Апокалипсисе (10:10-11).

Другой повторяющийся мотив, который есть и у Пушкина - бессилие пророка после принятия миссии. Каждый раз требуется специальное действие, или хотя бы повелевающее слово посланника, или, наконец, самого Посылающего, чтобы пророк обрел новую силу, встал и пошел. У Пушкина:

*Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
“Восстань, пророк...”*

В книге Даниила:

“Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот, некто по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною: “господин мой! от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы...” Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня” (Даниил, 10:15-18).

Пушкин, надо полагать, внимательно перечитывал книги пророков прежде чем создать своего, похожего на библейских и отличного от них. Но через эти книги, при их посредничестве, в ткань пушкинского стихотворения – как слова в тело пророка Иезекииля – проникли такие образные отголоски древних культур, о которых поэт знать не мог. Не по невежеству, разумеется, а потому что время не пришло.

Томас Манн сравнивал прошлое с бездонным колодцем. *“Чем ниже спустишься в преисподнюю прошлого, – писал он, – тем более убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его”.*

Лот Пушкина, казалось, достигал дна в книгах пророков. Но как раз в его времена стали открываться новые дали. В тот год, когда молодой Пушкин сочинил свою самую рискованную поэму на библейский сюжет, другой молодой человек, едва ли на десяток лет его старше, заканчивал дешифровку иероглифов древнеегипетского языка. В 1822 году Жан-Франсуа Шампольон в Академии надписей прочел доклад, благодаря которому история сделалась на тысячелетия длиннее.

А спустя десять лет после гибели поэта, там же, в Париже, где он так и не побывал, открылась выставка, которая стала другой сенсацией. Поль-Эмиль Ботта, по должности – французский консул в Мосуле, а по страсти – археолог, доставил в столицу статуи и рельефы, найденные им в далекой Месопотамии, там, где когда-то стоял гигантский дворец ассирийского царя Саргона Второго. Можно даже уточнить, когда именно стоял – дворец был

сооружен около 710 г. до н.э. Позднее, в 1849 году Ботта опубликовал пять больших томов, где были воспроизведены его находки; о них еще придется вспомнить. Раскопки Ботта, равно как и параллельные раскопки его коллеги англичанина Лейарда, открыли еще одну грандиозную главу истории древних культур - культуру древнего Междуречья. Пионеры месопотамской археологии обнаружили относительно поздние памятники - современные знания об истории этого ареала куда более обширны и охватывают тысячелетия, предшествовавшие временам расцвета ассирийского царства, а также и столетия, следовавшие за его падением, разумеется.

Но вот что важно. Пророки, чьи слова были только что приведены, и ассирийские цари были - в грубом приближении - современниками. Пророк Исайя жил во времена Саргона II (другое дело, что книга Исайи, как и другие, дополнялась и редактировалась позднее). Иезекииль жил ближе к нашим дням. В годы вавилонского плена - в начале VI в до н.э. - он мог видеть творения вавилонского искусства собственными глазами.

Именно эта особая образность позднего месопотамского искусства составляет зрительную подоплеку многих пророческих видений. Грозные небесные стражи, сборные человекозвери, живые тягачи Господа - херувимы, привидевшиеся Иезекиилю, восходят к огромным крылатым человекобыкам - "ламассу" или "шеду", - охранявшим входы во дворец Саргона II и доставленным в Париж еще Ботта. Кстати - и само слово "керуб" (именно так звучит единственное число, "керубим" - это множественное число, которое в русском языке утвердилось в роли единственного) - заимствованное, его не было в иврите и оно пришло туда из ассиро-вавилонского словаря. Прообразами серафимов (возможно, "пылающих" в переводе с иврита) тоже были многокрылые добрые гении, которых можно увидеть на ассирийских рельефах рядом с богами и царями. Ничего такого не могли знать потомки Иосифа в Египте - если они там действительно были. Египетские боги и вправду звероподобны или, выражаясь на специальном языке - териоморфны; часто птицеподобны: бог Гор - сокол, а Тот - ибис. Но изображения Гора - либо птица целиком, либо человеческая фигура с птичьей головой, то же - с Тотом. Крылатые небесные люди - творение месопотамского воображения. Они-то и были предками шестикрылого серафима, который горящими угольями очищал рот Исайи.

Но если мы заглянем попристальной в преисподнюю

прошлого, то увидим, что сама процедура очищения рта гораздо старше пророка.

Древние египтяне, начиная с III тысячелетия до н.э. жили в приготовлениях к загробной жизни. Переход умершего в вечность обеспечивали разнообразные процедуры и ритуалы, из которых наиболее важными было мумифицирование останков и, если возможно, изготовление скульптурного портрета будущего покойника. Однако, ни готовая мумия, ни похожий портрет сами по себе никакого действия произвести не могли, пока не был исполнен специальный ритуал их оживления. Оживление набальзамированного тела и каменного подобия умершего обеспечивали начало будущего вечного пребывания покойника в стране Осириса. Это был ритуал “отверзания уст и очей” - ибо когда у человека открыт рот и глаза, он говорит и дышит, он зрит, он жив - и состоял этот ритуал из последовательности сложных и тщательно регламентированных операций. Магическое оживление включало в качестве центрального акта прикосновение к устам и глазам мумии (и портрета) окровавленной ноги свежееубитого быка (кровь - носитель жизненного начала), а также некоторых других предметов, в числе которых был инструмент скульптора! Кстати, одно из названий скульптора у египтян - “дающий жизнь”.

Так происходило новое рождение умершего.

Позволим себе смелую параллель. Пушкинский пророк, как и библейские пророки, возрождается для новой - пророческой - жизни. Прежней жизни больше нет, после и в результате призвания он уже другой, нежели был до того. Но у библейских пророков единственное место, которого касается небесный посланник или сам Господь, это уста. Пушкин добавил глаза - “зеницы” - и уши. Он, разумеется, не был осведомлен о ритуалах, которые исполняли в долине Нила за четыре или даже пять тысячелетий до него, египтология была еще в пеленках. Но ход мысли резонировал с древними поверьями: уста и глаза выражают внутреннее человека, его витальное существо - и божественное прикосновение обновляет его до основания.

Уста в этом акте рождения играют главную роль. В принадлежавшей к библейскому ареалу Месопотамии об этом хорошо знали. Там, когда надо было изготовить статую бога, требовались специальные приготовления. Общее представление было таково, что рукою мастера-исполнителя управляет само божество. Казалось бы, при таком непосредственном вмешательстве законченная статуя вполне пригодна для исполнения сакральных функций. На

самом деле это не так, поскольку до совершения определенного ритуала божество в изваянии отсутствует. Статуя еще не живая. Главным элементом оживления была операция “отверзания рта” и “омовения рта”. Омование рта было актом очищения божественной природы статуи от всего небожественного, земного, нечистого, обусловленного прикосновением человеческих рук и инструментов. Омование устраняло всякие следы соучастия земного мастера в рождении статуи, теперь она превращалась в истинно божественное произведение.

Некоторые исследователи полагают, что между месопотамским омованием рта и очищением рта пророка Исаяи существует прямая зависимость - и недаром. Серафим очищает Исаяю от всего нечистого. В конце концов, пророк в своем пророческом качестве тоже становится божественным творением. Эхо - у Пушкина: *“И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый...”*

На другом конце евразийского материка, в Индии, ритуал отверзания глаз необходим для оживления статуи Будды.

В Королевском музее Антверпена хранится створка диптиха, написанного Жаном Фуке, самым значительным французским живописцем XV века. На ней изображена Богородица с младенцем на коленях. На второй створке - она находится в Берлине - Фуке написал своего покровителя Этьена Шевалье, королевского секретаря и казначея, вместе с его небесным покровителем св. Стефаном. Шевалье и был заказчиком диптиха, который он подарил родному городу.

Моделью для Богородицы, говорят, послужила фаворитка короля Карла VII, обаятельная умница, Агнес Сорель; равнодушен к ней был и сам Шевалье. Действительно, известный сегодня несомненный портрет Агнес не противоречит этой версии. Королевская любовница, да еще с обнаженной грудью, в качестве Мадонны - такое могло бы показаться кощунством, если бы это был единственный случай. Но в пятнадцатом столетии, да и позднее, такое не было новостью. Можно забыть о двусмысленности, которую сообщает картине воспоминание о прелестной Агнес, сейчас куда важнее другой, первый смысл. Картина вписывается одновременно в две давно определившиеся иконографические традиции. Богородица представлена как Царица Небесная: она сидит на украшенном жемчугом и драгоценными камнями троне, так же украшена и

тяжелая корона, на плечи наброшена горностаевая мантия. Одновременно она принадлежит к типу кормящей Девы, “Virgo Lactans” - отсюда открытая левая грудь, приготовленная для кормления. Этот тип стал особенно популярен начиная с XIV века, хотя восходит к древним временам. Словом, картина исполнена с соблюдением полагающихся канонических правил, за которыми закреплены теологические и мистические значения.

Разумеется, Жан Фуке в середине пятнадцатого века не мог знать, что скажет его коллега и компатриот Поль Сезанн в конце девятнадцатого. Нынче эти слова, которые вдохновляли кубистов, хорошо известны: “природу надо трактовать в виде цилиндра, конуса, шара”. Так вот, Фуке этой фразы не знал, но идеальные формы цилиндра, конуса и шара очевидно искушали его пластическое воображение. В особенности это касается шара - сферической формы, которая с античных времен считалась законченной, совершенной. Универсум был организован сферически, и мировая гармония была гармонией сфер. В картине Фуке к сферической полноте стремится и открытая, и задрапированная грудь Богородицы, близок к шаровидной поверхности ее высокий лоб, специально подбритый по моде того времени, голова, щеки, животик божественного младенца... Там, где шарообразность невозможна, она уступает место цилиндрическим или устремленным к конусу объемам.

Сильно артикулированная стереометрия переднего плана отзывается эхом в ангельских фигурах, которыми заполнен фон. Округлость головок и тел крылатых мальчуганов ощущается ясно, хотя она и несколько смягчена - как и полагается существам, чья телесность не равна телесности земных творений. Пластика ослаблена в первую очередь из-за сплошной локальной окраски их тел. Окрашены они, однако, по-разному, в один из двух цветов, так, словно это небесные существа разной природы; наивный зритель мог бы подумать, что они принадлежат к разным небесным расам - одни к красной, а другие - к синей... Красным ангелам живописец отдал известное предпочтение: собственно, им доверено поддерживать небесный трон, тогда как синим оставлена более скромная роль.

Красочное двухголосие ангельского хора, действительно, озадачивает непосвященного. Конечно, можно вспомнить, что красное и синее - богородичные цвета. Это правило закреплено в иконописи и оттуда перешло в неиконную религиозную живопись. Обычно, однако, в красное и синее окрашены одеяния Богоматери. С ангелами дела

обстоят иначе. Фуке и здесь следует традиционному христианскому символизму, который складывался на основании самых различных, часто неожиданных, аналогий, сопоставлений, отождествлений и замысловатых толкований священных текстов. В случае серафимов решающее слово принадлежало самому слову, точнее - его этимологии. "Серафим", как и "херувим" - на иврите есть форма множественного числа. Один серафим вообще-то - сераф (*śarāp*), и это существительное, как я упомянул, обычно соотносили с глаголом *śarap* - гореть³. Благодаря этому созвучию образ серафима стал ассоциироваться с пламенем и ему был присвоен красный цвет. Херувимы по контрасту получили синий. Серафимы в небесной иерархии занимают наивысшую ступень, поэтому они - ближайšie к трону.

Серафимы и херувимы на картине Фуке никак не напоминают библейские видения. Пухлые мальчуганы бесконечно далеки и от окруженных молниями гигантских крылатых быков с четырьмя ликами, и от благостных и грозных шестикрылых серафимов, которых видел Исайя. Вид небесных существ претерпел кардинальную метаморфозу - между персонажами горнего мира, открывшимся библейским пророкам, и христианскими ангелами с картины, заказанной благочестивым Этьеном Шевалье, не осталось ничего общего, разве что окрыленность...

Но у ангелов, какими их себе представляли первые христиане, не было крыльев. Именно такими, бескрылыми, они появляются в росписях катакомб, где гонимые христианские общины погребали своих покойников. На стене знаменитой катакомбы Присциллы сохранилась сцена Благовещения - к Богородице, сидящей в кресле, протягивает руку с указующим перстом мужская фигура в просторном одеянии, но без крыльев. Это либо конец второго века, либо первая половина третьего. Подобные изображения встречались и позже. В Мюнхене хранится мастерски вырезанная на дощечке из слоновой кости сцена Воскресения; ее датируют пятым веком. Следуя евангельскому рассказу, мастер посадил рядом с затейливой архитектуры погребальным склепом молодого и прекрасного юношу-ангела, благовещающего женам-мироносицам. Крыльев у него нет. И верно. В Евангелии от Луки сказано только, что ангелов было два, это были *"два мужа в одеждах"*

³ Высказывалось также предположение, будто "сераф" восходит к имени вавилонского бога огня - *Sharraru*.

блистающих” (Лука, 24:4). У Матфея двум Мариям при гробе явился один ангел: “*вид его был как молния, и одежда его бела как снег*” (Матфей, 28:3). Иоанн рассказывает, что Мария Магдалина увидела в гробнице двух “*ангелов в белом одеянии*” (20:12). Марк - об одном юноше, облеченном в белую одежду (Марк, 16:5). В первых двух описаниях слышны отголоски патетических ветхозаветных видений, другие более сдержанны. Но об окрыленности нигде ни слова.

У ангелов христианского искусства другое генеалогическое древо. Мир раннехристианских изображений складывался в окружении греко-римской пластической культуры. Христианские ангелы - наследники античного воображения. Они становятся окрыленными тогда, когда христианство утверждено было императором Константином как государственная религия империи - и официально разрешенная вера искала для себя образы, в которых можно было бы зримо представить свое понимание и видение мира. Пришлось черпать из богатейшего античного опыта, переделывая и переосмысливая его на свой лад.

Греческие мифы полны воспоминаний о териоморфизме, но олимпийские боги, какими мы их знаем, антропоморфны, они - как люди, только более могущественные и бессмертные. Тем не менее, одна богиня сохранила (или получила?) крылья - богиня победы Нике: она стремительно слетает на поле битвы в последнюю минуту. Такой, окрыленной и летящей, ее изображали греческие скульпторы - от Нике работы наивного Аржерма, который в 6-м веке до н.э. изваял ее летящей и бегущей одновременно, и до куда более знаменитой Нике с острова Самофракии, шумно слетающей вам навстречу, когда вы поднимаетесь по лестнице Дарю в Лувре. Правда, афиняне построили храм бескрылой Нике и украсили его рельефом, на котором лишенная крыльев богиня прервала и свой пеший бег - наклонившись, она завязывает сандалию. Говорят, что, лишив богиню крыльев и остановив ее, афиняне надеялись навсегда удержать ее в своем городе и тем самым сделать Афины навеки победоносными. Уловка не помогла.

Римская богиня победы, Виктория, унаследовала крылья Нике. Христианские ангелы унаследовали крылья Виктории. В середине IV в. крылатые ангелы стали вытеснять бескрылых и начиная с VI в. изображения бескрылых ангелов исчезли совсем. Как видим, с самого начала ангелы и архангелы христианского искусства стали выглядеть иначе, нежели те, которые являлись смертным в дни Ветхого Завета. Впрочем, средневековые мастера умели синтезиро-

вать новую образность с исходным преданием. На иконах, на византийских мозаиках и фресках, на порталах европейских соборов и даже на миниатюрах, украшавших рукописные книги, ангелы нередко сохраняли монументальность и грозное величие, отдаленно напоминавшие о космических зрелищах, виденных пророками или апостолом Иоанном на о. Патмосе. Но и в благостно улыбающихся нежных ангелах готики никак нельзя увидеть предшественников крылатых мальчуганов, синих и красных, столь трогательно и торжественно заполнивших пространство вокруг трона Богородицы на картине Жана Фуке. У них совсем другой предок, тоже родом из языческой древности.

В эпоху Возрождения, когда античные образы завладели умами художников и гуманистов, в священных сценах появились ангелы совершенно другого вида - крылатые малыши, мальчуганы (к неудовольствию будущих феминисток) с крылышками и без крылышек; в Италии их называли "putti", буквально - мальчики, это слово навсегда вошло в терминологию искусствоведов. Очаровательные пухлые крылатые мальчуганы носились в воздухе в сценах рождества Христова, поклонения волхвов, мученичества святых, они утешали страдальцев, ликовали в минуты торжества, приносили тайные вести и нашептывали божественные истины. Мотив крылатого мальчугана во многих случаях бывал сокращен до прелестной - "херувимской" - детской головки с крылышками.

Их родословная, однако, восходит к мальчугану совсем другой природы - античному Эроту (Купидону или Амуру), сыну богини любви Афродиты (у римлян - Венеры), шаловливому и опасному стрелку из лука - такому, каким его изображали на римских саркофагах или на стенах помпеянских домов, раскопанных в XVIII столетии. Снова языческое божество пережило головокружительную трансформацию, превратившись в христианского небесного посланца, охранителя, утешителя. В раннехристианские времена купидоны доказали свою совместимость с христианскими символами. В коллекциях Ватикана хранится мраморный саркофаг, на котором несколько раз изображен, во всю высоту стенки, Добрый Пастырь, несущий на плечах больную овцу - он символизирует Христа, пастыря человеческих душ. Вокруг него, в густых зарослях винограда хозяйничают маленькие крылатые купидоны, они собирают щедрый урожай. Это их главное занятие. Но есть и побочные сюжеты: один из купидонов доит козу, другой несет на руках новорожденного козленка. Эти напоминают о пастырском призвании...

Жан Фуке представил высшие ангельские чины, какими они рисовались воображению его эпохи. Но в том же XV столетии появились произведения в некотором смысле энциклопедические - там можно найти отчасти итог, а отчасти программу ангельской образности. Одну такую картину, где тесно переплелись страхи, надежды и верования времени, где странно и многогранно представлен тогдашний способ видеть мир, в прямом и переносном смысле, - одну такую картину я хочу упомянуть.

Я имею в виду фреску, которая находится на стене церкви Сант Агостино в старинном городе Сан Джиминьяно. По заказу горожан ее написал Беноццо Гоццолли, ученик богобоязненного монаха-живописца Фра Беато Анжелико. Центральный персонаж его композиции - излюбленный в те времена христианский мученик, св. Себастьян.

По преданию, Себастьян был офицером преторианской гвардии в годы гонений на христиан, воздвигнутых императором Диоклетианом, в третьем веке. Когда открылась его тайная принадлежность к христианам, он был приговорен к жестокой казни - солдаты должны были расстрелять его из луков. Так его и изображали - обнаженным молодым человеком, привязанным к столбу, окруженным лучниками, со стрелами, вонзившимися в его молодое и прекрасное тело. Популярность именно этого святого была поразительна. Подсчитано, что среди известных сегодня датированных изображений святых за примерно столетний период - с начала XV по первую треть XVI века - св. Себастьян по количеству изображений занимал второе место, сразу после Иоанна Крестителя! Нередко говорилось о том, что легенда о святом позволяла художникам Возрождения, вслед за античными мастерами, воспеть красоту и гармонию обнаженного тела. Не исключено, что так оно и было. Но была и более жгучая практическая причина интереса к христианину-воину: святой Себастьян считался защитником от чумы. Это было смертельно важно: занесенная в XIV в. в Европу "черная смерть" в первую эпидемию унесла треть населения континента. Эпидемии периодически возвращались - и никакой защиты, помимо молитвы, не существовало. Так получилось, что стрелы диоклетиановых солдат стали как бы символом испарений, заражавших людей. Словно бы сам Господь, разгневавшись на грешное человечество, посылает с неба карающие стрелы. Поэтому надежды были обращены к святому, который, как сообщалось, не погиб от стрел, но

был излечен. Жители Сан Джиминьяно хотели защитить себя, именно для этого Беноццо Гоццоли была заказана фреска.

Святой изображен стоящим на подиуме, на котором крупными буквами нанесена надпись: SANCTE SEBASTIANE INTERCEDE PRO DEVOTO POPOLO TUO (“Святым Себастьяном поручителем за Твой преданный народ” - подразумевается “спасаемые”⁴). Но вот что замечательно: Себастьян, кажется - единственный раз - изображен одетым. Это необходимо, поскольку фреска представляет одновременно и всемирную, и местную, городскую ситуацию. Вверху, на небесах, несколько приподнявшись на троне, сам Бог-Отец мечет на землю стрелу. Перед Ним, на облаке преклонили колени Христос и Богородица, они просят о смягчении гнева: Христос, одной рукой прикасаясь к ране от копья, другой указывает на землю, Богородица обнажила грудь, которой она кормила Христа, это знак милосердия. Но стрелы все еще сыплются с неба - и широко распахнутый плащ святого защитительно покрывает толпу молящих о помиловании жителей Сан Джиминьяно.

Запечатленная в картине наивная вера в силу святого, способную противостоять воле самого неба, замечательна сама по себе. О ней многое известно, это была характерная черта средневекового религиозного сознания. Но мы - об ангелах. Поскольку драма разыгрывается в масштабах мира, ангелам отведена чрезвычайно заметная роль. Вокруг трона, в иератической неподвижности, полагающейся высшим стражам, покоятся шестикратно окрыленные детские головки серафимов. В мальчишеских головках с синими крыльями нетрудно узнать херувимов. Охранительно стоящие по бокам трона два ангела могут быть престолами. Трудно сказать, насколько педантично Беноццо - или его заказчик - следовал за девятиступенной ангельской иерархией Псевдо-Дионисия. Но можно предположить, что остальные ангелы, заполняющие божественную сферу, принадлежат к следующей триаде. Они ближе к земным делам и потому соучаствуют в небесной каре - они мечут на землю смертоносные стрелы. Но где же третья триада - ближайшие к человечеству начала, архангелы и ангелы?

Эти серьезные крылатые мальчики летают вниз, прямо над распростертым плащом Себастьяна. Расцветка их одеяний говорит о том, что они действительно принадле-

⁴ Благодарю профессора Ирину Свенцицкую за совет относительно перевода надписи.

жат к трем ангельским чинам. А заняты они тем, что перехватывают и ломают направленные с небес стрелы. Зигзаги сломанных стрел жестко рисуются на фоне небесной синевы, их беспокойный, беспорядочный ритм контрастирует с чистыми, спокойными поверхностями распростертого себастьянова плаща.

Надпись на подиуме, проясняющая в слове смысл фрески, просит святого быть поручителем за город перед небом. Живописный образ идет куда дальше слова, проговаривая зрительно эмоции страха и надежды. Тут становится видно, как воображение невольно привлекает в качестве защитников не только святого, но и самих ангелов, разделив тем самым надвое ангельское воинство.

Видение ангелов - вещь изменчивая, и земные страсти нередко задавали угол зрения.

Прослеживая судьбы крылатых мальчиков в искусстве Возрождения, можно еще раз убедиться в парадоксальной неоднородности и открытости великой переходной эпохи. Роль этого образа, заимствованного из античного арсенала, немедленно стала ветвиться. Приняв на себя ангельские функции, *puto* отнюдь не забыл о своем эротическом прошлом. Его роли переливаются и мерцают. У Рафаэля два знаменитых ангелочка задумчиво взирают снизу на открывшееся им - и нам - видение Богородицы с младенцем; я имею в виду Сикстинскую мадонну. А на фреске, украшающей виллу Фарнезину, руки того же Рафаэля, их родные братья (зрительно, разумеется) на лету направляют любовные стрелы в нимфу Галатею. Тициан в своем "Вознесении Богородицы" расположил дугою вокруг ног Богоматери целую гирлянду ангелочков, а в "Празднике Венеры" такие же - по виду, по виду! - купидоны толпятся чуть ли не сотнями у подножия статуи неумолимой богини. Упоминания одних только ренессансных параллелей можно длить сколько угодно.

А дальше - больше.

Величайший скульптор XVII века, Лоренцо Бернини, сумел свести оба персонажа в единый образ. В римской церкви Санта Мария делла Виттория, в капелле Корнаро, он создал впечатляющий пространственно-скульптурный комплекс. Центральная его композиция представляет видение святой Терезы Авильской. Мраморная фигура испанской монахини, наделенной выдающимся мистическим даром, полулежит на мраморном же облаке, прикрыв глаза и приоткрыв губы в экстатическом возбуждении. Перед

нею стоит привидевшийся ей юный и прекрасный мальчуган с ангельской улыбкой на устах. В правой руке у него то ли стрела, то ли легкое копье - сама Тереза писала о копье - которое он метит прямо в сердце святой. Крылатый мальчик со стрелой - полная формула языческого Эрота, и мы могли бы принять его за сына Афродиты, если бы не знать, что стрела в ангельской руке - аллегорическая. Если эротические стрелы отравляли жертву ядом чувственной любви, то стрела берниниевского ангела - духовная, это стрела заражает мистической любовью к Христу. Античный образ мальчика-бога сделан метафорой небесного существа, обитателя христианского неба. Русские религиозные писатели начала прошлого века говорили о мистической эротике испанской святой - они имели в виду прежде всего сочинения самой св. Терезы, но не исключено, что память о скульптурной группе Бернини сыграла здесь свою роль.

В живописи рококо амуров едва ли не вытеснят с холстов своих небесных двойников. Жозеф-Мари Вьен, директор Французской Академии в Риме, первый живописец последнего перед революцией короля, вдохновленный недавно открытой помпеянской фреской, напишет картину, где бойкая торговка достает из корзины, как цыплят, маленьких амуров, совершенно похожих на ангелов, но, в отличие от ангелов, позволяющих себе непристойные жесты. Дамы внимательно разглядывают интересный товар...

Различия между библейскими визионарными зрелищами и позднейшими способами изображения ангелов могут показаться странными, чтобы не сказать - недопустимыми. Так, во всяком случае, может подумать трезвомыслящий современный наблюдатель. Он будет не первым, проблема была осознана куда раньше - тогда, когда раннее христианство еще только создавало свою систему образов, свою сакральную иконосферу. Для ума просвещенных раннехристианских мыслителей диковинные образы возбужденного пророческого воображения казались неадекватными новому, несравненно более утонченному представлению о небесном устройстве. Но эти древние образы нельзя было отбросить, они принадлежали к самой сердцевине верования. Значит, для согласования унаследованной и новой образности следовало по-новому интерпретировать священные тексты.

В этой связи надо снова вспомнить выдающегося богослова, который скрыл себя под именем Дионисия, члена

афинского ареопага. Его сочинение, которое я упоминал выше, замечательно не только тем, что там была представлена упорядоченная картина небесной иерархии. Ареопагит развернул виртуозно выстроенную логику священных изображений, в особенности - ангелов. Это особого рода логика, я бы назвал ее парадоксальной.

Начинается она с постулата о неизобразимости ангелов - ибо сверхчувственный и бесплотный ангельский мир не может быть представлен в той телесности, которая только и доступна человеческому чувственному взору. Псевдо-Дионисий разрабатывал такое богословие, которое принято называть апофатическим. Это значит, что применительно к Богу уместны только отрицательные определения: бесконечный, неограниченный, несложный, непостижимый, неписуемый, невидимый... Ну и, следовательно, неизобразимый. То же справедливо относительно ангелов в силу их причастности божественному свету и божественному знанию. Таков тезис.

Но в Библии небесные существа изображены. Они изображены словесно, но очень наглядно. Иезекииль или Иоанн описывают то, что было открыто их телесному взору. Сверхчувственный мир, постигаемый лишь умом, был представлен в качестве чувственно постигаемого, видимого, слышимого и даже осязаемого. Стоит понять эти описания небесных зрелищ буквально - и *“иной в самом деле подумает, что небо наполнено множеством львов и коней, что там славословия состоят в мычании, что там стада птиц и других животных, что там находятся низкие вещи - и вообще все, что Св. Писание для объяснения Чинов Ангельских представляет в своих подобиях, которые совершенно несходны, и ведут к неверному, неприличному и страстному”* (О небесной иерархии, II:2). Непросвещенный, наивный взгляд “иного” воспринимает описание во всей его чувственной, грубой реальности - и ошибается. На деле, считает Ареопагит, если понять, что изображения ни в какой мере не похожи на изображаемое, то можно увидеть здесь верный способ указать человеческому взору на вещи сверхчувственные - посредством “несходных подобий”. Оксюморон **“несходных подобий”** раскрывается в следующем рассуждении, которое стоит привести полностью.

“Ибо Божество превышает всякого существа и жизни; никакой свет не может быть выражением Его; всякий ум и слово бесконечно далеки от того, чтобы быть Ему подобными. Иногда то же Св. Писание величественно изображает Бога чертами, несходными с Ним. Так оно

именует Его невидимым, беспредельным и непостижимым (1 Тим. VI, 16. Псал. CXLIV, 13. Рим. XI, 33), и этим означает не то, что Он есть, но что Он не есть. Последнее, по моему мнению, даже еще свойственнее Богу. Потому что, хотя мы и не знаем невместимого, непостижимого и неизреченного беспредельного бытия Божия, однако ж на основании таинственного Священного предания истинно утверждаем, что Бог ни с чем из существующего не имеет сходства. Итак, если по отношению к Божественным предметам отрицательный образ выражения ближе подходит к истине, чем утвердительный, то при описании невидимых и непостижимых существ несравненно приличнее употреблять изображения, несходные с ними. Потому что священные описания, изображая небесные чины в несходных с ними чертах, тем самым придают им более чести, нежели бесславия, и показывают, что они превыше всякой вещественности. А что сии несходные подобия более возвышают наш ум, и в этом, как я думаю, никто из благоразумных не будет спорить. Ибо благороднейшими изображениями скорее бы некоторые обманулись, представив себе небесные существа златовидными, какими-то мухами световидными, молниеносными, красивыми по виду, одетыми в светлые ризы, испускающими безвредный огонь, или под какими-либо другими подобными видами, в которых Богословие изображает небесные умы. Потому, чтобы предостеречь тех, которые в понятиях своих не восходят далее видимых красот, святые Богословы по своей мудрости, возвышающей наш ум, прибегли к такому очевидно несходным подобиям с тою святою целию, чтобы не допустить чувственную нашу природу навсегда остановиться на низких изображениях; но чтобы самым несходством изображений возбудить и возвысить ум наш, так чтобы и при всей привязанности некоторых к вещественному, показалось им неприличным и несообразным с истиною, что существа высшие и Божественные в самом деле подобны таким низким изображениям” (О небесной иерархии, II:3).

Тонкое рассуждение выдающегося богослова относилось к тем местам Библии, где словесные описания обладали наибольшей зрительной интенсивностью. Их легко было отнести к живописным изображениям - и это вскоре было сделано: идеи Ареопагита сыграли свою роль в ожесточенных спорах иконоборцев и иконопочитателей. Враги иконопочитания упирали на то, что “божественные предметы” неизобразимы, защитники икон напоминали о

допустимости и необходимости “несходных подобий”. Известно, что иконопочитатели победили – тем самым история христианских изображений получила грандиозное продолжение.

По мысли Ареопагита, следует различать буквальное и иносказательное чтение изображений. В последней части своего рассуждения он демонстрирует способы верного толкования “несходных подобий”; нетрудно увидеть, что тайные значения скрываются/открываются посредством тропов – метафор и метонимий. Вот пример. В приведенных выше скупых цитатах из Библии видно, какую роль играет в небесных видениях огонь. Псевдо-Дионисий разъясняет: *“Ибо святые Богословы описывают часто Высочайшее и неизобразимое Существо под видом огня, так как огонь носит в себе многие и, если можно сказать, видимые образы Божественного свойства. Ибо чувственный огонь находится, так сказать, во всем, чрез все свободно проходит, ничем не удерживается; он ясен и вместе сокровенен, неизвестен сам по себе, если не будет вещества, над которым бы он оказал свое действие; неуловим и невидим сам собой; все побеждает, и к чему бы ни прикоснулся, над всем оказывает свое действие; все изменяет и сообщается всему, что к нему каким бы то ни было образом приближается; животворною своею теплотою все возобновляет, все освещает ясными лучами; неудержим, неудобосмесим, имеет силу отделять, неизменяем, стремится вверх, проникающ, выходит на поверхность и не любит быть внизу; всегда движется, самодвижен и движет все; имеет силу обнимать, но сам не объемлется; не имеет нужды ни в чем другом, умножается не приметно, и во всяком удобном для него веществе показывает свою великую силу...”* и т.д. (О небесной иерархии, XV, 2).

Учение Ареопагита унижает чувственное зрение. Желание и потребность видеть отнесены у него к слабостям и несовершенствам человеческой природы, это признаки своего рода врожденной инвалидности. Поэтому человеку бывают необходимы образные костыли, помогающие двигаться к истинному умопостижению божественных предметов.

Неизвестно, сколько прожил безымянный богослов; надо полагать, что не дольше обычной для своего времени нормы. Но если бы ему был отведен мафусаилов век, он бы увидел, до какой степени он недооценил тягу несовер-

шенного человечества к видению и какова мера доверия к увиденному.

Сохранилась древняя легенда о женщине, которая хотела поверить в Христа, но не могла, пока она его не увидела. Она уверовала, когда изображение было чудесным образом ей послано. При этом, что особенно важно, изображение было именно “сходным подобием”, не изобразительной метафорой, но портретом, подобием в прямом смысле слова, отпечатком внешности. Именно качество подлинности, несомненного сходства превыше всего ценилось в иконописи. Изображения святых возводились либо к первоначальному отпечатку с живого лица, либо к портрету с натуры, либо к чудесным образом явленному нерукотворному изображению. Образ Христа восходил к тому плату, которым Вероника отерла пот и кровь с Его лица во время крестного пути, или к так называемому мандилиону из Эдессы – плату, на котором появился отпечаток, когда сам Христос отер лицо, образ Богородицы – к живописному портрету, исполненному св. Лукой... Если таковые доказательства отсутствовали, портретная подлинность удостоверялась видениями: святой являлся некому лицу в снах или наяву – и оказывался совершенно похожим на свои изображения, случалось таким способом лицезреть и ангелов. Видения божественных ликом и предметов не закончились с откровениями, данными Иоанну, они продолжались, но принцип “несходного подобия” не соблюдался, напротив – наставление на путь, ведущий к небесным созерцаниям, производилось через несомненное и полное сходство, т.е. – через непосредственное усмотрение. Надо было верить увиденному.

Иносказательный язык символов и аллегорий, язык неподобных подобий, не был оставлен, вовсе нет. Но между двумя способами изображения божественного или, вернее, чувственного созерцания образов божественного, существовало напряжение, которое снять невозможно. Буквальное переживание и толкование нарисованного, написанного, изваянного не только сохраняло свою силу, но часто оказывалось куда более интенсивным и распространенным, нежели толкование метафорическое, доступное немногим изоциренным в богословии умам. У нас, однако, нет никаких оснований не считать реальной жизнью изображений **все** способы их видения и переживания – в конце концов, каждый человек и каждая группа в истории имеют право на наше понимание. Моралисты и романтики постоянно заняты делением на правых, неправых и виноватых, дело историка – посмотреть, как было.

Поэтому нельзя не заметить, как дисбаланс между наслаждением **самой видимостью** и духовным восхождением **посредством видимого** в некотором месте европейской истории достиг опасного предела, за которым все становится возможным. Тогда возлюбленная короля годится в модели Богородицы - и хотя ее обнаженная грудь все еще аллегорически указывает на кормление млеко истинной веры, доверяющий своему взгляду зритель видит просто упругие полушария женской груди; тогда ангелы, невидимые для персонажей картин, но прекрасно видимые для нас, становятся близнецами античного божка любви; тогда визионерские экстазы набожной монахини начинают соблазнять сублимированной эротикой... Крайности сходятся, возбужденная спиритуальность встречается с непосредственной чувственностью.

А вскоре самим библейским видениям стали грозить совсем другие испытания.

Склонность к переменам заложена в генетический код европейской культуры.

Иногда она меняется настолько радикально, что изменению сопутствует критический пересмотр собственных оснований. Вот так однажды вдумчивый француз, старший современник Вьена, внимательно читая Библию, заметил, что рассказанные там истории как бы дwoятся, и это с самого начала - откройте первые главы Книги Бытия, и вы увидите, что там изложены две различные, хотя и похожие, версии сотворения мира. Более того, там встречаются два разных имени Создателя: в одних случаях Яхве, а в других - Элохим. Любопытного и скептического читателя звали Жан Астриук, он был видным профессором медицины, а на дворе был XVIII век - век Просвещения или, иначе, век Разума. Астриук не побоялся предположить, что тут соединены, до известной степени - механически, тексты двух авторов; одного из них условно назвали "яхвистом", а другого - "элохимистом". Так началась текстологическая критика священных книг.

В XIX веке времена сложения библейских текстов стали проявлять себя другим способом: навстречу критике текстов двинулась древневосточная археология. Нетрудно представить, какую сенсацию вызвало сообщение английского исследователя Смита, который нашел в глиняных клинописных книгах-таблицах из библиотеки ассирийского царя рассказ о всемирном потопе - другой, не тот, который известен из Книги Бытия, но похожий.

Раскопанные холмы Месопотамии, нынешнего Ирака, позволили снова увидеть то, что видели люди, населявшие эти места во времена первых цивилизаций. Альбомы, изданные Ботта, сделали его находки доступными всем заинтересованным лицам - как в Париже, так и вне его.

Одним из заинтересованных лиц оказался Александр Андреевич Иванов, русский художник, который к тому времени добрых 20 лет жил в Риме. Увражи Ботта стоили дорого, а Иванов был совсем небогат, скорее просто беден. Но тут уж пришлось раскошелиться. Мало этого, когда позднее появились книги Лейарда, он и их приобрел. С Лейардом были особые трудности - Иванов не знал по-английски. Однако упорство этого с виду тихого и мало-разговорчивого человека было поразительно: среди русских он находит только что окончившего курс молодого врача, который в то время попал в Рим, приглашает его к себе в мастерскую и мягко заставляет переводить ему английские тексты с листа - переводить, пока сам Иванов делал пометки в тетради, переводить и переводить, до изнеможения. Начинаящего русского доктора с знанием английского звали Иваном Сеченовым.

В большой мастерской Иванова с 1839 года стоял огромный холст. На нем постепенно появлялась картина, которую сегодня знает всякий, кто хоть немного знаком с русским искусством - "Явление Христа народу". Задумана картина была в 1834 году, но к началу пятидесятых все еще не была закончена. Почему так получалось - отдельная тема. Важно напомнить, что работу над "Явлением" Иванов считал делом своей жизни, а самую жизнь свою считал миссией, категорическим долгом перед искусством и Россией. Зачем ему, годами разрабатывавшему евангельский сюжет, нужны были месопотамские боги и чудовища? В картине можно было изменить частности, но вся ее композиция, решенная раз и навсегда в подмалевке 39 года, оставалась неизменной...

В начале пятидесятых годов Иванов многое стал осмысливать иначе и - как всегда, с бескомпромиссной честностью, которую стоит оценить, ибо дело шло о труде всей его жизни - признавался, что *"перед новейшими решениями учености литературной основная мысль моей картины совсем теряется"*. В той же мастерской, где стояла незавершенная картина, он скрытно вынашивал новый грандиозный замысел. Картина "Явление Христа народу" широко известна, но мало кто знает о другом его создании

- так называемых “Библейских эскизах”. Эту вторую свою великую идею Иванов не осуществил, но огромный массив сохранившихся подготовительных работ - набросков, эскизов, проектных схем - составляет исключительное явление в искусстве XIX века. Замысел, который породил это множество образов, надо было бы обсудить отдельно. “*Говорить подробно обо всем - не было-бы благоразумно; рассказывать часть - темно*”, - писал о них Иванов Гоголю в 1851 году; я могу сейчас переиначить его слова - говорить обо всем было бы долго, рассказывать часть - темно. Но можно рискнуть и, прежде чем вернуться к месопотамским находкам, вытянуть одну нить из хитросплетенной исторической пряжи.

Заметим, что в большой - и главной - картине Иванова отсутствуют персонажи нашего разговора - ангелы. Они могли бы быть: по своему сюжету картина Иванова близка к сцене Крещения, а древняя традиция предусматривала там присутствие ангелов. Так было в иконописи, и не только в иконописи. В чудесном “Крещении” Пьеро делла Франческа справа от Иоанна Крестителя виден человек, который снимает рубаху, готовясь принять крещение, а слева от Христа, отделенные стволом дерева, стоят три прекрасных ангела... У Иванова в “Явлении Христа” нет ангелов, там чудесный элемент отсутствует вообще. Ибо, как он сам говорил, у него предмет трактован “*исторически, а не церковно*”.

Иванов был человеком своего времени, а век был наполнен гулом истории: от гипотезы Канта-Лапласа, которая наметила историю солнечной системы, через философию Гегеля, которая была титанической попыткой логически распрямить историю, к теории Дарвина, которая сделала историей самое жизнь - не говоря уж о блистательном расцвете собственно исторического знания. И русский исторический живописец задумал изобразить первое явление Мессии народу “так, как оно было”. Задача невыполнимая, если понимать ее буквально; “как было” никто не знает и знать не может. Поэтому, например, младший современник Иванова, великий французский живописец Гюстав Курбе, будучи последовательным реалистом, отвергал историческую живопись как пустое фантазирование. Иванов, разумеется, понимал, что его картина не может выдавать себя за документальную фотографию события, которое имело место почти за две тысячи лет до него. Это сознание развязывало ему руки, позволяя сделать нечто большее, чем словно бы правдоподобная реконструкция проповеди Крестителя при Иордане, указывающе-

го на Спасителя. В гигантской картине Иванов задумал соединить историю и вечность, вернее, изобразить вхождение вечности в историю. Искренне верующий христианин, он хотел представить приход Мессии как явление универсально надвременного начала в форме исторического события. Этим антиномическим слиянием несоединимого можно объяснить многое в его картине - вплоть до изобретенного им самим метода сотворения персонажей. Он писал с натуры определенную модель, уникальный характер - ибо только из них и состоит история людей, а затем накладывал на этот этюд идеальный античный образ, который ему представлялся как бы вневременной протормой человеческих типов. Так возникал синтез текущего времени и неподвижной вечности. Это в большой картине.

В "Библейских эскизах" история победила. Изображая сюжеты из Ветхого и Нового заветов, он развел события, которые могли реально произойти, и события чудесные. Но можно ли исторически достоверно изобразить чудо как чудо?

Вот тут ему и пришла в голову поразительная идея: представить чудесные события так, как они могли когда-то привидеться самим библейским персонажам или - тем, кто описывал видения на страницах Книги книг. Сама история приготовила ему необходимый материал в виде находок Ботта и Лейарда. Рассматривая альбомы с воспроизведениями месопотамских памятников, он старался вообразить себе библейские чудеса так, словно он их видел глазами пророка или евангелиста. Он не копировал древние образцы, он создавал новые композиции, настраивая свою фантазию на тот способ видения, о котором ему сообщали древние рельефы. И тогда его ангелы потеряли приглагоженно идеальную красоту и розовую сладость, они вернулись к своей первичной природе, став снова могучими крылатыми посланниками грозного, взыскующего и ревнивого Бога. В "Благовещении" огромный, в полтора человеческих роста, многокрылый архангел, подобный гению с ассирийской стены, приносит благую весть Марии; спокойный жест его руки исполнен непререкаемой магнетической силы, которой покорствуе хрупкая молодая женщина. В полутемном пространстве едва различимого интерьера встречаются два источника света - самосветящаяся фигура посланца небес и благословенное чрево Марии.

Ангелу Иванова можно доверяеь: такой способен вырвать у человека язык, "и празднословный и лукавый", и жало мудрой змеи вложить в отверстие уста - "десницею кровавой". Один из лучших "библейских" листов Иванова

прочитывается как эхо пророческих откровений. Там мощный архангел - того же ассирийского типа - является в окружении странного дымного сияния, контуры его фигуры вибрируют и дwoятся, это страшное и прекрасное существо из другого мира. Повелительным жестом он касается губ священника - "и он к устам моим приник"! - и поражает Захарию немотой. Снова, на этот раз в новозаветном тексте, замыкаются уста.

Напомню, Захария и его жена Елизавета в преклонном возрасте, невзирая на праведную жизнь, были бездетны. Однажды во время службы в храме Захарии явился архангел и принес ему весть о предстоящем рождении сына. Захария усомнился, ссылаясь на свой возраст - за это неверие Захария и был наказан немотой. Обещанный сын родился, и на восьмой день его жизни, когда после обрезания младенцу дали имя, Захария снова обрел дар речи. Младенец этот был Иоанн Креститель. Но нас занимает Захария - заговорив после немоты, он стал пророчествовать. (Так рассказано в Евангелии от Луки, 1: 5-20, 59:79.) В ином обрамлении узнаваема все та же конфигурация сюжета: праведник-избранник - божественный вестник - замкнутые и снова разомкнутые, обновленные уста - пророческое вещание истины. В торжественно патетической, монументальной и визионерской интерпретации Иванова, навеянной древними памятниками, зримо проступают контуры ветхозаветных видений.

С течением времени бесконечность истории становится длиннее. В последние десятилетия XX века некогда ленинградский художник-диссидент, а позднее художник-эмигрант, Алек Рапопорт, на другом конце света, в Сан-Франциско, не раз воскрешал на своих картинах встречи библейских пророков с посланником Неба, следуя то за Даниилом, то за Иезекиилем. Именно эта сцена приготовления к пророческому служению была для него особенно необходима. Ей посвящена целая полоса в его творчестве начала 1990-х годов, а годы эти оказались последними годами его жизни. Место в творческой биографии придает каждой картине дополнительное значение, а если ее предмет тесно связан с эволюцией внутреннего мира мастера - значение чрезвычайной важности.

Это большие холсты или доски - более полутора, а то и более двух метров в обоих измерениях, напоминающие скорее фрески или витражи. Но огромным небесным существам тесно и здесь - развернутые в полете крылья

уходят далеко за пределы рамы. Пророки, павшие на колени, малые и ослабевшие, обращая взгляды к ангелам, запрокидывают головы в экстатическом исступлении, их уста широко раскрыты - то ли от мучительной духовной жажды, то ли в ожидании очищения.

Живописец сам указывал на те места библейского текста, к которым относится сцена. Но тень Пушкина незримо присутствовала в его мастерской. Картина "Ангел открывает пророку глаза и уста" имеет подзаголовок - Даниил 10. В книге Даниила нет того, что изображено на картине. Муж, "похожий на сына человеческого", не касался глаз пророка, это прикосновение есть только в пушкинском стихотворении.

Я полагаю, однако, что связь куда глубже.

Пророки Рапопорта похожи на него самого. В сущности, это стилизованные, экспрессионистически неистовые автопортреты. Образ автора накладывается на образ пророка, словно бы стремясь слиться с ним в поиске места художника-пророка в современном мире. В этом смысле Рапопорт вторил Пушкину. У Пушкина повествование ведется от первого лица - *"шестикрылый серафим на перепутье мне явился"*. Картины Алека с их отсылкой к автопортретности - тоже от первого лица. Они, кажется, были рождены личностным переживанием пустынного перепутья и страстным поиском пути, потребностью недвусмысленного, цельного знания, убежденной веры и призвания. Образ мерцает, персонаж и автор обмениваются ликами и ролями, минутами кажется, что пророк сочинил художника.

В конце смутного, трагического и циничного, опустошенного собственным опытом XX века, совсем не ко времени, русский художник, советский диссидент, еврей и христианин, иммигрант в американском городе Сан-Франциско, какая гремучая смесь! - Алек Рапопорт возвращался к идее служения, посланничества и сопряженного с этим страдания.

Ему требовалось во что бы то ни стало очистить уста.



ЛИЦА



СРЫВАЯ СТРУНЫ

А.Б.

разбей в сортире волшебный шприц
мы каждый на треть патрон
жестоко ждать
рядом ядерный принц
с плетью идёт на трон

алхимических чисток
вылакано корыто
блокадных ртов утрамбованных нагло
окно верхотуры кухонь
открыто
в нём снег
нем ангел

1988

Северная Пальмира

ни свет ни мрак
распад природы
сердцам которые просты
предсказан
узником свободы
власть
влага ран
и в них персты

Нил Нерлин - автор восьми книг стихов и прозы. Член Союза российских писателей (Москва). Живет в Таллинне с 1980 года. Постоянный автор журнала.

НАД НИДОЮ

близостью небес
елозилось
исчезалось
льнянкой Лозеля
(остролистый
песколюб)
сохло
губ моих
молозиво
1970

НЕЗРИМАЯ ВЕСТЬ

Ив. Э.

Шоссе под вечер. Солнце как паук.
Душа ослепнет правдою мушиной.
Мгновенье вечно. И не надо мук.
За светом фар несущейся машиной.

31.8.1976

Рига

ЮРАТЕ

февральский шквал!

окошками
ветер
сечёт
как на Курши Нерия
бушевал

камешек
моря
песком
штормов
подниму

это мне одному

тошнотою
тою
кромешною
воссияет
всё новый

как сейчас
ракушечною
шкатулкой
волн окатыш
твой

тёмновишнёвый

1983

ПРИЗРАК

стекловатой
(с лун смотреть)
белеем
славно мы
под новым битюгом
потной меди
мелкий люд
болеем

атомным огрело
батогом

“воевал по глобусу”
кто вскую*
корчевал
наш
человечий лес
мерой смертной
подвига взыскуя

стадной скуки
Истуканом влез
1979

* попусту, напрасно:
по бороде блажен муж,
а по уму вскую шаташся

САМОСОЖЖЁННОСТЬ

возможно
молний
дождь
молитвой о таком
спасении
надёжней
слёз тайком

злой
спичкой ночи
жгу
тетрадку лишь
золой
что глиной
угольев лежишь
1973 май 6
Хавен-Порт
улица Юлии

ХОЗЯИН

ядовитая лень
алюминия труб
выцвел шкуры медведь
кедра выглажен сруб
вкусом кремния спирт
рвёт порог Енисей
древний хрящ осетры
ямы неба синей
1986

ДЛИННОПОЛЫЙ

тринадцатого в три утра
с отстрелов скрылась эта тень
коварством фар или костра
стращать переворотный день
1991 январь
Вильнюс

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ

А.М.

кляп смирения
помня
местью вляпались тыщи

Кровь
святым
поимённа

труп-заказчик
не пойман
и топор не отыщут
11.9.1990
Москва

STANZA*

всего-то бумаг обугленных
спрессованные слова
логова судный угол
рассвета серей голова

кажется кожа
сблочена с ночи
крышевладельчеством
рынков невольничьих

гвозди распятий ржавы
крещёный грязью скажи
душа дороже державы
пока есть погост Киж

пусть даже поздними
вызывает стансами
как “нас” два поезда
выжглись на станции

как сыском гении
всех свято гнобили
дух техногенные
геенн чернобыли

каждой каютою
каждого стона “я”
кбзни окутана
тайной “Эстония”

понят подонками
сонны клаксонами
бдящих под окнами
бельма кальсонами

скалься болезнь
человеков
кессонная
вбросами “дел”

выбросом
из глубин
битой вселенной
откуда клубим
1999 осень

* *комната*

РИТУАЛ

1

жадно
вырван
даже луч

в колбах
свет

мертвей
на ком-то
замкнутых
вглухую
комнат

сквозануть
застенный
ключ

2

семь слов
мыча
мог языком
захрясть
взяв меч
зачем
закон

3

ты **омрачая** мир
словами без смысла
восстань Ибв
моё Солнце зависло
оплава планету
краеугольно
бездну исследуй
рукою крамольной
там за вратами
равенства смерти
смех нищих ртами
с химерами сверь ты
смирней ли в тёмни
камня росы “мы”
сирые тени
Земли-Хиросимы
2005 август 6

я
в пламя
лампы
дуну

дух
слепощаро

к нам
шурша
крадётся
дюна

ВОСКРЕШЕНИЕ

А.П.

шар
озоновых
выдохов
зоной карьера

твой подарок

тот рай
тот мураш
янтаря
осторожной шлифовкою

жаркий мираж

ни по какому
здесь
адресу
не ждут нас
живой свело
кораблик
с державой
Андерсена - - -
- - - - -
- - - - -
сквозных миров
сказки дерзкие -
- - - - -

здесь
льдов
гренландских
слюда
хранит их
игрушки детские
датские города

*1973 сентябрь 17
пролив Большой Бельт*

RESÜMEE

Selle numbri suurim plokk on pühendatud Leedule. Selle keskmes on tuntud leedu poeet, nüüdseks Yale'i Ülikooli professor Tomas Venclova. Olukirjeldus tema elust ja loomingust Tatjana Jassinskajalt (Vilnius - Klaipeda). Samasse plokki kuuluvad ka Mihhail Juppi leedu värsid ja tema essee "Čiurlionise õed". Järgneb intervjuu Tallinna ja Tartu Ülikooli professori Rein Veidemanniga "Läänemere suur sörmus", kes hiljuti esines Helsingi Ülikoolis loenguga kolmest - eesti, läti ja leedu naaber - kirjandusest.

"Poeet ja Raamat". Meie reis Euroopasse algab koos Karamziniga, kelle "Kirjade" kogumik Marina Tsvetajeva märkmetega sattus filoloogiadoktor Vadim Starki (Peterburg) kätte.

Eesti kirjanik Ülo Tuulik meenutab, kuidas veel nõukogude ajal, olles Saksamaa-reisil, käis koos tuntud dirigendist sõbra Eri Klasiga prantsuse show'd vaatamas.

Eesti kirjaniku Rein Põderi seiklusromaani "Hula" tegevus toimub mitmes ajalises dimensioonis.

Läinud sajandi 50-ndate aastate Tartu Ülikoolile, ning oma õpetajatele Boris Jegorovile ja Juri Lotmanile pühendab oma mälestused Valentina Kухhareva-Pen (Ukraina). "Olen Kroonlinnast" on insener-leitaja Grigori Balašovi esimene suleproov. Alalist repressioonide ja GULAGi teemat esindavad 1937. aastal hukatud vene filosoofi lapselapse Pavel Florenski olukirjeldus "Hirmus töötus" ja "Võõras allkiri", mille autor on Lidia Nusberg, eesti taustaga lenduri, koonduslaagri vang Ivan Nusbergi tütar.

Vene emigratsiooni ajakirja 80. aastapäevale on pühendatud Aleksandr Gurevitši (Moskva) artikkel "Teataja. Pariis - New York - Moskva". Kunstiteadlane akadeemik Boris Bernstein (San Francisco) mõtiskleb "keerubi" kujundi loomisest euroopalike traditsioonide baasil. Kevadiste luulefestivalide hääli - selles numbris kostavad need Rootsist ja Taanist. Samuti avaldame Marina Kutšinskaja (Espoo, Soome) "kreeka" luuletusi. Numbris on ka Ljubomir Zanevi (Bulgaaria) lüüriline päevik, Nil Nerlini (Tallinn) rütmid "Näod" ja Tallinna Ülikooli magistrant Denis Kuzmini poeetiline debüüt. Tõlkinud eesti keelest Tatjana Teppe, Svetlan Semenenko; leedu keelest Viktor Kulle; rootsi keelest Lina Bondarenko; taani keelest Maria Kašina; bulgaaria keelest Boris Baljasnoi.

SUMMARY

The main contributor to this issue is Lithuania. The world-known Lithuanian poet Tomas Venclova (now a professor of Yale University), Tatiana Yasinski's essay about his life and creative work. Appropriately here are Michail Yupp's Lithuanian poems and his essay *CHIURLIONIS'S SISTERS. A BIG RING of BALTIC SEA* is the interview with Tartu and Tallinn Universities professor, a writer Rein Veidemann on Estonian, Lithuanian and Latvian literature, survey of which he delivered at the University of Helsinki.

Our entry to Europe we make in the company of Karamzin. *POET and BOOK* is about his unique *LETTERS* with Marina Tsvetaeva's notes, happily obtained by a St. Petersburg scholar Vadim Stark.

Estonian writer Ülo Tuulik tells us a story about his soviet time visit to Germany for the conference and attending a French show together with his famous friend Eri Klas. *HULA*, an adventure novel by Estonian author Rein Põder, shifts back and forth across the times and continents but chapters in the issue are mainly about Norway.

Two essays - *BINDING PROMISE* by Pavel Florensky, a grandson of a Russian philosopher killed in Solovki in 1937 and *A STRANGER'S SIGNATURE* by Lidia Nusberg, a daughter of a pilot made a prisoner Ivan Nusberg (of Estonian ancestry) - tackle the theme of GULAG, which is given much attention in our magazine.

To Tartu University of the 1950s and its Teachers - B.F.Yegorov and Yu.M. Lotman - devotes her reminiscences Valentina Kukhareva-Pen (Ukraine).

Engineer-inventor and an aspiring writer Grigory Balashov offers his *I AM FROM KRONSTADT*.

The issue also includes a special - for the 80th anniversary - article *LE MESSENGER. PARIS - NEW YORK - MOSCOW*, prepared by Aleksandr Gurevitch (Moscow).

Art critic, academic Boris Bernstein (San Francisco) unfolds the steps by which the image of cherub had been created (with the European tradition as a basis).

Spring Festivals' Voices - poetry of the Northern countries. On offer - Denmark and Sweden. More poetry: 'Greek' poems by Marina Kuchinskaya (Finland), lyrical diary by Liubomir Zanev (Bulgaria), rhythms *FACES* by Nil Nerlin (Tallinn).

Translated from: Estonian - Tatiana Teppe, Svetlan Semenenko, Lithuanian - Viktor Kulle, Swedish - Lina Bondarenko; Danish - Maria Kashina; Bulgarian - Boris Baliasny.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАДИМ СТАРК.

Поэт и Книга.

“Письма русского путешественника” в прочтении Марины Цветаевой.

5

ТОМАС ВЕНЦЛОВА.

День Благодарения. Стихи разных лет.

Перевел с литовского ВИКТОР КУЛПЭ.

Обернувшийся у рубежа.

Подстрочник и комментарий автора.

19

ТАТЬЯНА ЯСИНСКАЯ.

Нарушитель мифов. Очерк о Томасе Венцлова.

35

ТАРТУСКОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ.

ВАЛЕНТИНА КУХАРЕВА-ПЭНЬ.

Гуру (Б.Ф. Егоров). Насладиться этим словом (Ю.М. Лотман).

46

МИХАИЛ ЮПП.

Остербрамская мадонна. Литовские строфы.

Сёстры Чюрлёниса. Эссе.

72

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ.

Над всеми довлела страшная клятва.

79

МАРИНА КУЧИНСКАЯ.

Чёрные паруса. Стихи.

88

РЕЙН ВЕЙДЕМАНН.

Большое кольцо Балтийского моря. Интервью.

90

ЮЛО ТУУЛИК.

Wunderschön и wunderbar с Эри Класом в Киле.

Перевел с эстонского СВЕТЛАН СЕМЕНЕНКО.

95

ГОЛОСА ВЕСЕННИХ ФЕСТИВАЛЕЙ.

ХОКАН САНДЕЛЛ. ЭВА РУНЕФЕЛЬТ. КУРТ ВЕСТ.

КИКИ АЛБЕРИУС-ФОРСМАН. РАФИК САБЕР.

Перевела со шведского ЛИНА БОНДАРЕНКО.

104

РЕЙН ПЫДЕР.

Путешествие в трех измерениях. Главы из романа.

Перевела с эстонского ТАТЬЯНА ТЕППЕ.

109

ПИА ТАФДРУП.

Метка. Стихи.

Перевела с датского МАРИЯ КАШИНА.

126

АЛЕКСАНДР ГУРЕВИЧ.

Вестник. Париж - Нью-Йорк - Москва.

128

ЛЮБОМИР ЗАНЕВ.

Вместо фотографии. Лирический дневник.

Перевел с болгарского БОРИС БАЛЯСНЫЙ.

139

ЛИДИЯ НУСБЕРГ.

Чужая подпись. Об отце - узнике ГУЛАГа.

145

ДЕНИС КУЗЬМИН.

На Высоких Каменных Ступенях... Стихи.

156

ГРИГОРИЙ БАЛАШОВ.

Я из Кронштадта. "Сочинения" для взрослых.

159

АВТОРСКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР.

ЛЕОНИД СТОЛОВИЧ. Волны свободы.

ЛЮДМИЛА ГЛУШКОВСКАЯ. Гипотеза обрывает "плотью".

Умом Россию не понять? Подмётное чтиво.

175

БОРИС БЕРНШТЕЙН.

Увидеть херувима. История образа.

187

НИЛ НЕРЛИН.

Лица. Неотвязные ритмы.

214

На обложке:

Янтарь. Литовский художественный календарь 2005-2006 года

GINTARAS.

Художник-ювелир Николай Жолудев,
фотомастер Римантас Дихавичус.

Суперобложка финского издания книги
Александра Меня "Сын Человеческий"
(Хельсинки, 2006).

см. также:

www.veneportaal.ee/vyshgorod

НАД
НОМЕРОМ
РАБОТАЛИ

Людмила Глушковская

главный редактор

Юрий Зотов

зам. гл. редактора

Владислав Станишевский

художник

Олег Костанди

технический редактор

Алла Маловерьян

корректор



ЭСТОНСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
•РУССКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ•

АДРЕС

а/я 1016, "Вышгород", 10302, Таллинн

ТЕЛЕФОН

6 403 945

Е-МАИЛ

Nil.Vysgorod@mail.ee

Напечатано в Таллиннской книжной типографии